Леонид Радищев

КРЕПКАЯ ПОДПИСЬ

СП

Леонид Радищев

КРЕПКАЯ ПОДПИСЬ



КРЕПКАЯ ПОДПИСЬ

РАССКАЗЫ О В. И. ЛЕНИНЕ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1979

Р2
Р15

В этой книге собраны рассказы Л. Н. Радищева о В. И. Ленине. Ленинградский писатель и журналист Л. Н. Радищев (1904—1973) через всю свою творческую жизнь пронес глубокий волнующий интерес к образу Ленина, к ленинской теме. Свой первый рассказ о Ленине он написал еще в конце 20-х годов.

Л. Н. Радищев всегда стремился художественно зримо передать масштаб и обаяние личности Владимира Ильича. Историческая достоверность, близость к подлинным документам, к фактам — отличительная черта его Ленинианы. «О Ленине ничего нельзя придумывать,— говорил Радищев.— Ильич не нуждается в приукрашивании, ему ничего не надо приписывать. Напротив, если автору посчастливится правдиво показать хотя бы одну черту многогранной ленинской личности, хоть немного приблизиться к жизненной правде ленинского образа — уже одно это придает смысл и значение его работе».

Р $\frac{70302-221}{083(02)-79}$ 132—80 4702010200

...Печатей и штампов на документе не было, но зачем нужна была печать, когда одна в мире была такая подпись — Ленин.

А. Семенов, рабочий завода б. «Эриксон»
(Из воспоминаний)



УРОК

Кажется, перемена только что началась, а уже снова звенит-заливается медный колокольчик. Опять урок — и самый скучный: закон божий.

Учить этот предмет, в сущности, нетрудно. Законоучитель, священник гимназической церкви отец Василий, требует лишь одного — вызубрить слово в слово главу из книжки. Вопросов он не задает, пояснений не спрашивает. Но какая непролазная скучища — все эти деяния апостолов, библейские притчи, послания евангелистов.

А на улице уже хозяйничает ранняя весна, в классе открыли окна и отчетливо слышно, как постукивает капель.

Считанные минуты остались до прихода отца Василия, и уже повеяло на всех привычной, вязкой скукой, но тут, будто сжалившись над гимназистами, случай послал им небольшое развлечение.

На окне, против задней парты, появился смешной, взъерошенный котенок — наверно, добрался сюда по карнизу.

— Кис, кис, кис!

— Тащи его к нам!

Кто-то обнаружил у себя в кармане осколок зеркальца. Котенок охотно подпрыгнул, пытаясь поймать солнечного зайчика. Это вызвало всеобщий восторг.

И вдруг открылась дверь. Все кинулись по местам, а гимназист, забавлявший котенка зеркальцем, схватил его и упрятал в парту. С отцом Василием плохие шутки. Он сбавляет отметки за малейшую шалость. А низкий балл по закону божьему влечет за собой самые плохие последствия...

Войдя в класс, отец Василий размашисто перекрестился на икону в углу. Дежурный прочитал положенную перед началом урока молитву, после чего законоучитель дал благословение всему классу.

Когда окончилась эта неизбежная церемония, отец Василий поднялся на кафедру, ткнул перстом в одного из учеников и приготовился слушать, приняв свою обычную позу: голова на подставленной ладони, глаза закрыты.

Но вместо голоса ученика, вызванного к доске, в классе послышалось кошачье мяуканье. Отец Василий приоткрыл глаза: что сие? Обман слуха?

И опять по всему затихшему классу пронеслось жалобно-протяжно:

— М-м-я-у-у...

Законоучитель грузно встал со стула, глаза его вспыхнули гневом:

— Это кто же здесь занимается звукоподражанием?!

И тут он узрел нечто небывалое, невозможное, невообразимое — кошку в классе. Она неторопливо шествовала между партами, направляясь прямо к кафедре.

Мясистое, бородатое лицо законоучителя побурело.

— Кто посмел принести кошку в класс?

Ученик, в испуге выпустивший кошку, съежился, побледнел. Но класс молчал.

— Спрашиваю вторично! Кто принес кошку?

Несколько голосов ответили вразброд:

— Никто не приносил!

— Она в окно влезла!

Отец Василий сгреб бороду в ладонь; известно было, что это плохой признак.

— Не оскверняйте ложью уста ваши!.. Кузнецов Михаил, кто принес кошку в класс?

— Никто. Сама вскочила на подоконник!

— Врешь бесстыдно! — оборвал его отец Василий.— Стой! Тебе не сказано садиться!.. Ульянов Владимир! Правду говори!

— Вам ее сказали. Кошка пришла через окно. Сама.

Некоторое время отец Василий сверлил грозным взглядом спокойно стоявшего коренастого подростка, потом закричал визгливо:

— Убрать! Немедля!

Дежурный долго гонялся за кошкой, которая не давалась в руки. Все сидели, боясь пошевелиться или, не дай бог, улыбнуться. Отец Василий нервно поглаживал золоченый нагрудный крест.

Наконец кошку удалось поймать, и дежурный унес ее. Урок начался. Горе было тем, кого вызывал сегодня разгневанный законоучитель. То и дело раздавался его рыкающий бас:

— Чушь городишь, любезнейший!.. Достаточно!

Уходя после звонка, уже в дверях, он бросил:

— Ответите всем скопом! Попомните!

Ждать пришлось недолго. Уже на следующем уроке — это был немецкий — в класс поспешно вошел инспектор. Немец удивленно посмотрел на него.

— Прошу извинить, господин Штейнгауэр,— отрывисто сказал инспектор,— надеюсь долго не задержать...

Он оглядел из-под пенсне угрюмые лица стоящих гимназистов и заговорил ровным, бесстрастным голосом:

— На сегодняшнем уроке закона божия имело место возмутительное, недопустимое озорство, распространяться о коем не вижу надобности. Уважаемый наш законоучитель предложил вам назвать зачинщика, но таковой не был назван... Советую одуматься, ибо сокрытие виновного не приведет вас к добру.— Он достал часы, щелкнул крышкой и, глядя на циферблат, стал прохаживаться мелкими шажками возле кафедры.

Молчание. Только поскрипывают парты.

— Тэ-э-кс! — зловеще протянул инспектор.— Ну что ж! Тогда уж мы сами разберемся.— Он выдержал паузу и громко, отчетливо произнес фамилию ученика, прятавшего кошку.

Класс замер. Похоже было, что все сразу перестали дышать.

— Единица по поведению! В карцер — марш! — скомандовал инспектор.— Остальным — три часа арифметики после занятий... Продолжайте урок, господин Штейнгауэр,— добавил он, пропуская вперед себя наказанного гимназиста.

Дверь за ними закрылась.

— О, ви шлехт, ви шлехт,— говорил немец, сокрушенно качая головой.

Его не слушали. Все были потрясены. Кто-то громко сказал:

— У нас завелся доносчик!

Нелегко жилось и раньше, под непрерывным, придирчивым надзором гимназического начальства. Надзирали все — от директора и инспектора до сторожа в раздевалке. Надзирали в классах и на улице, в саду и на катке, в театре и в церкви, нередко наведывались и домой. А теперь объявился еще и фискал, ябедник, доносчик.

Один гимназист подрисовал очки и бакенбарды апостолу Петру, изображенному на картинке, и это сразу стало известно классному надзирателю. Мучительно тяжело пришлось матери этого ученика, пока она вымолила у директора прощение своему сыну.

На другого гимназиста фискал донес, что он читает запрещенные книги. И хотя обыски и расследования ни к чему не привели, гимназиста посадили в карцер на хлеб и воду.

Третий пострадал за то, что с насмешкою отозвался о гимназических порядках: ябедник тотчас же доложил об этом.

Отсидка в карцере, вызов родителей, замечания в дневниках — все это посыпалось на головы многих. Замелькали тройки, двойки, даже единицы по поведению.

Дружный еще недавно класс сделался неузнаваем. Все притихли, помрачнели. Разговаривали с опаской, с оглядкой, спохватывались на полуслове. Стали разделяться на группки, уединялись, шушукались.

А доносчик не унимался.

И вот кто-то высказал вслух догадку, произнес фамилию — и все насторожились: а ведь может быть...

Ученик, на которого легло подозрение, был одним из самых отстающих в классе. Учение давалось ему туго, со скрипом, и было видно, что его грызет вечная тревога — вот позовут к доске, вот спросят. Маленький, сутулый, с блуждающим взглядом, он чуть не падал в обморок, когда приходилось отвечать урок.

И еще одно было в нем очень заметно: чрезмерная услужливость. Стремглав кидался он открывать двери учителям, классным наставникам, надзирателям, старался встретиться им на пути, чтобы успеть почтительно поздороваться.

Да, многое вызывало в нем подозрение, и одноклассники снова и снова гадали: он или не он?

Высказал свое суждение и Володя Ульянов:

— Он! Уверен в этом!.. Ведь он же никому в глаза не смотрит! Значит, совесть нечиста! А лицо, когда он слушает чьи-нибудь разговоры? Точно подстерегает добычу! А потом отойдет в стороночку и шевелит губами... Я уверен, что это он.

К словам Володи Ульянова прислушивались в классе — так получилось безо всяких усилий с его стороны. Он никогда и ни в чем не стремился утвердить свое первенство, хотя для окружающих — и педагогов и учеников — были очевидны его выдающиеся способности, редкая для его возраста начитанность. Но сам он как будто не замечал этого, и товарищи признавали его превосходство без зависти и обиды...

— И я тоже уверен, что это он! — сказал крепкий, рослый Митя Андреев, друживший с Володей.— Надо фискалу ребра пересчитать как следует...

— Бить? Нет, это не годится! — ответил Володя.— Нельзя бить!

Митя удивленно поднял брови:

— Нельзя бить фискала? А по-моему, такого учить надо! А вернее — проучить!

— Битьем не научишь и не проучишь! Пускать в ход кулаки — самое никудышное средство!

— А что же делать с доносчиком? — горячился Митя.— Наградить его похвальным листом за ябеду?

— Нельзя бить! — настойчиво повторил Володя.—

Ему надо всем классом объявить бойкот... Отныне для нас его нет!

— Присутствуя — отсутствует,— сказал Костя Сердюков, шахматист и философ.

Бойкот проводили неуклонно. Одни подчеркнуто отворачивались, когда фискал обращался к ним, другие глядели мимо. Он был здесь же, сидел за партой, ходил теми же дорожками, но его перестали замечать, а когда случалось о нем разговаривать, то называли его «дон» — от слова «доносчик».

Вскоре он и сам уже ни к кому не подходил. На переменах бродил где-то в стороне с опущенной головой или оставался в классе. После занятий старался уйти неприметно.

А потом стал пропускать уроки. Дежурные, перечисляя отсутствующих в классе, доходя до его фамилии, обязательно прибавляли:

— Прихварывает дон!

— Что, что? Повтори?

— Да нет, я говорю, что занемог! Переутомился!

А доносы?

Доносы прекратились. Ошибки не было. Доносчик сам себя разоблачил.

Теперь он все чаще пропускал уроки. Как-то его не было больше недели. Пронесся слух, что он тяжело заболел. И вот «дон» снова пришел, став как будто еще меньше, еще сутулее. На него поглядели мельком и сразу забыли, и он опять оказался в той же пустоте, что и раньше.

Однажды, на большой перемене, он сидел за своей партой — понурый, неподвижный, похожий на заболевшую обезьянку. Пустой класс был залит майским солнцем, из распахнутых окон доносились громкие, веселые голоса. На гимназическом дворе было шумно. Там упражнялись кто во что горазд: прыгали с шестом и через кожаную «кобылу», качались на трапеции, взбирались по лестнице.

За дверью послышались торопливые шаги, и в класс почти вбежал Володя Ульянов — оживленный, быстрый в движениях, уже успевший загореть на весеннем солнце. Взгляд его невольно задержался на одинокой фи-

гурке, согнувшейся за угловой партой. Лицо у фискала болезненно сморщилось, точно его кольнули чем-то острым, и он отвернулся.

И вдруг Володя Ульянов подошел к его парте:

— Тяжело тебе?

Наверно, даже не эти слова, не значение их, а звук голоса поразил маленького, худенького человечка, отвернувшего лицо к стене. Он вздрогнул, дико поглядел на говорившего.

— Зачем ты это делал?

Узенькие плечи затряслись.

— Я... не мог... надзиратель заставил...— прорывалось сквозь жгучие рыдания.— Грозил... у меня плохие отметки... боялся... оставят на второй год... отец сказал — убьет...

— Да, скверно! — нахмурился Володя.— А дальше как?

Фискал поднял залитое слезами лицо.

— Больше этого... не будет... не будет...— исступленно повторял он.— Никогда... не будет... Пусть делают что хотят! Исключают! Убивают!.. Пусть!

— Слушай, обожди! — Володя сел рядом с ним.— Не отчаивайся так! Не все потеряно... Но ты должен открыто, перед всем классом, выйти и рассказать. Все! Начистоту!

— Я... не могу... страшно...

— Возьми себя в руки! Перебори! Не бойся, тебя поймут, поверят!

Он переборол себя. Рассказал все и ушел домой, не отпросившись у надзирателей, учителей.

В классе говорили только о нем. Говорили разное. Было сказано и так:

— Вот еще! Пусть теперь мучается!

— Ненужная жестокость! — упрямо отвечал Володя Ульянов.— Незачем ему мстить! Поймите, он же теперь другой человек! Нет, хватит, надо бойкот снимать! И позабудем «дона». У него есть имя!

Упорствующих было не так уж много, но Володя Ульянов добивался, чтобы все до единого согласились с отменой бойкота.

И он этого добился. У «дона» вновь появилось имя. Теперь, наверное, оно звучало для него музыкой.

После самовольного ухода с уроков он получил единицу за поведение и отсидку в карцере на хлебе и воде. Это случилось с ним впервые.

На другой день он пришел с завязанным глазом и разбитой губой, и все поняли, что произошло у него дома. И еще несколько раз появлялся он с подобными украшениями.

Улыбаться в таких случаях было трудно, получалась какая-то гримаса вместо улыбки, но он улыбался, когда товарищи сочувственно хлопали его по плечу.

Если учителя спрашивали, что это с ним такое, он отвечал:

— Упал! Расшибся!

ХЛЕБНОЕ ДЕЛО

Среди именитых жителей города Самары купцу Красикову отводилось весьма почетное место. Он был в числе тех, кого еще по-гоголевски называли «миллионщиками». Возможно, что имелось тут некоторое преувеличение, но, бесспорно, Красиков ходил в самых крупных городских тузах.

Известен он был также и делами богоугодными, как щедрый жертвователь на построение храма. Сам же он, несмотря на столь большое свое состояние и видное положение, сохранял самый обыкновенный вид: борода лопатою, суконный картуз, сапоги со скрипом, долгополый сюртук, золотая цепь с брелоками, пущенная по дородному животу.

Уже наступили времена, когда таких купцов стали представлять в театрах на потеху публике, но они с кремневым упрямством, точно напоказ, выдерживали истовую купецкую манеру и стародавний уклад жизни. Красиков носил свое одеяние, как положенную ему форму, и так появлялся всюду — и на бирже, и в клубе, и на приеме у губернатора, которому говорил «ты».

Дела свои он вел смело и хватко, выторговывал земли у башкир, скупал на корню крестьянский хлеб, гнал баржи с товаром по Волге. Но и у него вышла однажды закавыка, когда он мог понести и убыток и урон своему имени, и оказалось, что собственным разумением тут не обойтись. Пришлось крепко подумать, к кому обратиться. И вот, обдумав это и разузнав, что ему было нужно, Красиков велел кучеру запрягать.

Выезд у него был отменный, почище губернаторского: богатырский рысак-орловец, заморские дрожки, кучер — добрый молодец, перепоясанный ярким кушаком. Но дрожками купец на сей раз не воспользовался, а шел задумчиво по деревяннымросткам, кучер же ехал шажком по дороге, не отставая от хозяина и не опережая его.

Купец то и дело здоровался со встречными. От одних ждал, чтобы поздравствовались первыми, другим кланялся сам, случалось, даже снимал картуз.

Так добрался он до деревянного двухэтажного дома на углу Почтовой и Сокольничьей. Дом был купца Рытикова, занимавшего нижний этаж, а наверху жил тот, кто был нужен, и вел к нему отдельный ход с Сокольничьей улицы. Это было кстати, потому что с Рытиковым сейчас встречаться не хотелось.

— Здесь стой! — приказал купец своему кучеру и подергал дверной звоночек.

Открыла девочка в гимназическом платье с белым воротничком.

— Аблакат дома?

У девочки чуть сощурились узкие, живые глаза:

— Вы к брату? Идемте, я вас проведу.

Поднялись по лесенке, прошли через просторную комнату, где стоял рояль и большой обеденный стол, накрытый белейшей скатертью. Сапоги у купца немилосердно скрипели при каждом шаге — с расчетом на скрип и заказывались.

— Вот сюда, пожалуйста,— сказала девочка и постучала согнутым пальчиком в дверь: — Володя, к тебе пришли!

— Да, да, Маняша,— донеслось из-за двери.

По голосу слышно было, что человек оторвался от какого-то занятия. Купец не стал больше ждать, толкнул дверь, вошел, посмотрел в передний угол, где пола-

гается висеть иконе. Угол был пуст, да и не могло быть по-иному в такой квартире. Красиков это превосходно знал: просто уж так, по привычке, потянулся сотворить крестное знамение.

Небольшая комната казалась почти пустой. Самым главным был здесь стол с аккуратно разложенными книгами и бумагами. Наколотые газеты пачками висели по стенам. Была еще этажерка, вся заставленная книгами.

Из-за стола поднялся невысокий молодой человек в сатиновой косоворотке — плотный, большеголовый, с рыжеватой бородкой.

— Чем могу служить?

Сказал сухо, точно лучину переломил.

Купец густо прокашлялся. Не поймешь, с чего начинать при таком приеме — то ли поздороваться, то ли сразу приступать к делу?

— Господин аблакат Ульянов?

Слово «аблакат» говорилось с особой отчетливостью,— дескать, знаю, как его надо произнести, да не желаю.

Молодой человек молча кивнул головой.

Красиков опять прокашлялся, полез в сюртучный карман, достал ровный прямоугольник белоснежно-атласного картона, положил на стол перед «аблакатом». Глаза у молодого человека сощурились, оживились, и он стал похож на ту гимназисточку, которая открывала двери. Взгляд его как бы говорил: визитная карточка?! У купчины?! Интересно!

Да, у купчины! Взял да и заказал себе эти самые карточки. Понравилось. И уж таких, наверно, ни у кого не имеется в Самаре: по краям волнистая золотая каемка, сверху голубь с золотым письмом в клюве — типографщик объяснил, что так оно будет еще красивее,— а посреди тиснуто крупными буквами: «Купец первой гильдии Федор Федорович Красиков».

— Знаешь меня? — спросил купец.

— Слышал!

— И про тебя мы наслышаны, господин аблакат. Очень лестно объясняли... Я к тебе второй раз. На прошедшей неделе посылал за тобою лошадку — хотел, чтобы ко мне пожаловал для беседы, да тебя дома не оказалось,— должно быть, находился в суде... Тебе твои-то

не передавали? Ну, ладно... А нынче вот сам являюсь,— купец осмотрелся, чуть нахмурился.— Может, у тебя и сесть дозволяется?

— Прошу! — Адвокат кивком указал на стул.— Чем могу быть полезен?

Красиков придвинул к столу гнутый стул. Сел и адвокат.

— Чем, говоришь, полезен? — Купец испытующе поглядел на своего собеседника.— Да ты ко мне без строгости этой, ты смотри в корень! Дело к тебе есть, скажу напрямик — хлебное дело... Не пожалеешь, если возьмешься. А чего бы и не взяться? Вот так будешь доволен...

Адвокат выжидательно молчал. Красиков вытащил огромный цветной платок, крепко отер скуластое лицо. Видно было, что сейчас, когда подошло к самому делу, он заволновался.

— И на старуху бывает проруха,— начал он, все чаще откашливаясь.— Коротко говоря, нужно меня вызволять, господин Ульянов. Пережал я, переборщил кой в чем... Купил у мужиков урожай... немалый оборот был задуманный. Ну, ежели на откровенность — объехал я их на кривой. Так ведь это коммерция, как же иначе! Полагал, сойдет. А они в суд на меня! Раньше такое дело можно бы и под сукно, а теперь... сам знаешь! Шаткость! Суд одним глазом на нас, а другим на них. Опасаюсь, как бы чего не вышло. Тут требуется голова, которая закон понимает до самой внутренности...

— И вы решили, что именно у меня такая голова? — Голос прозвучал вроде даже с веселостью.

— А что? Или не такая? Вон ты какой лобастый,— купец перешел на шутливый тон,— да и волос у тебя редеет со лба, а не с макушки. Считается — бог ума прибавил... Ты не обижайся. Поговорка такая.

— Чего же обижаться на поговорку? — усмехнулся адвокат.— Кстати, поговорка занятная. Я такой не слыхал.

Похоже было, что строгость его смягчилась и сейчас пойдет настоящий разговор, но вдруг все сразу оборвалось.

— За ваше дело я не возьмусь,— как-то неожиданно резко закончил адвокат.

Купец побагровел:

— Вот тебе и на! Это почему же, господин Ульянов?!
— Не могу! Не мастер!
— Ты не мастер?! — Красиков заскрипел стулом.— Ты-то? А кто, как не ты, вытащил да обелил того сукинова сына — портиягу? Сам знаешь, о ком речь! Он же, прохвост, божью матерь и святую троицу поносил в трактире! Царское фамилие обзывал материными словами... Государя, наследника! Оскорбление величества! За это каторга, каждый понимает. А ты год тюрьмы выхлопотал этакому змею... А взять Копякова-купца, когда мужик у него хлеб покусился своровать: у купца-де много... Ты и сего ворюгу вытянул... Это что, не мастер?
— Однако вы в курсе судебных происшествий,— сощурился адвокат.— Надо полагать, что и знакомства имеются в этих кругах. Вот и обратитесь к кому-нибудь другому.
— Ты постой, постой, не спеши,— хрипло сказал Красиков и побагровел еще больше.— Разговор с тобой неконченый! Я от тебя не таюсь — с попом да аблакатом как на духу. Я почему к тебе пришел, к тебе, господину Ульянову? Первое — имеешь умственность, обучен по своей части не по годам. Второе — берешь на себя мужицкие дела. Заступник, стало быть, за мужиков. Таково их защищаешь, что они сами, как прихватит, сей же минут просятся: нам бы присяжного помощника Ульянова на защиту! Какой тебе профит с этого — убей меня бог, не пойму... Ну, это не моя печаль, я про другое. Выходит так, что ежели ты, ихний заступник, возьмешься за мое дело, значит, не столько уж я виноват против мужиков... Берись, господин Ульянов! Денег не пожалею!
Адвокат нахмурился:
— Вынужден повторить, что за ваше дело не возьмусь и денег мне не надо!
— Да ты что говоришь-то? — всплеснул руками Красиков.— Как это денег не надо? Царь и то землю сдает в аренду, потому деньги ему требуются. Царю!
— Возможно, возможно. Это к делу не относится. Прошу вас понять, что мы понапрасну тратим время.— Адвокат нетерпеливо постучал ладонью по столу.
Но купец не уходил.
— Та-а-ак! Значит, ты свою выгоду не соблюда-

ешь! — Он точно раздумывал вслух.— Стало быть, самолично не хочешь наживать добра... не имеешь такового желания... Да-а-а, нынче завелись такие молодые, которые особенные... которые поперек...— Он придвинулся со стулом ближе, понизил голос, даже огляделся.— Слушай, господин Ульянов, я к тебе в душу не лезу... Деньги, говоришь, тебе не нужны... Ладно... Ну, а на разные твои дела ух как они пригодятся! Ты, господин Ульянов, прикинь!

Ульянов встал:

— Это вы, собственно, о чем?

Поднялся и купец.

— Дык ведь я что? — заговорил он, часто моргая.— Сам знаешь... Слухом земля полнится...

— Да? — Ульянов вышел из-за стола.— Может быть, доносить собираетесь? Так я не из пугливых!.. А засим — прощайте,— и, повернувшись круто на каблуках, вышел из комнаты.

Купец долгое время стоял в неподвижности, потом направился к двери, открыл ее и затоптался на месте — забыл ход к лесенке.

— Вот сюда надо... идемте, покажу,— появилась откуда-то гимназисточка.

Дрожки стояли, где было приказано, а кучер дремал, повеся голову. Получив крепкий толчок, он вздернулся, вытаращил испуганные глаза, схватил вожжи.

— Домой!

В темноватом, с грязно-серыми казенными стенами, коридоре самарского губернского суда присяжный поверенный Яценко остановил своего молодого коллегу Ульянова. Яценко считался одним из самых преуспевающих адвокатов в Самаре, докой по купеческим делам, душой общества, первейшим оратором на банкетах. В адвокатском сословии ему завидовали.

— Хочу перемолвиться с вами словечком,— сказал Яценко, улыбаясь великолепными вставными зубами.— Отойдемте к окошечку... Вот так, постоим здесь... Позвольте, милостивый государь, выразить вам мое глубочайшее неодобрение. Вы оттолкнули, вы обидели весьма ценного для вас же клиента, почетного гражданина нашего города, уважаемого коммерсанта.

— Вы о Красикове?

— Вот именно, дорогой коллега! Так нельзя, так нельзя! При ваших безусловно незаурядных способностях вам открывается дорога к успеху на избранном вами поприще, но вы как бы сами эту дорогу закрываете. Ведь за Федор Федорычем к вам потянулись бы и другие, дела у них почти все под одну стать. И как естественное следствие сего — наполнение ваших карманов тем металлом, который называют презренным, но стремятся, однако, иметь его в возможно большем количестве.

Произнося эти округлые, безукоризненно построенные фразы, Яценко, как всегда, с удовольствием слушал свой собственный, богатый модуляциями голос.

Подошли еще несколько знакомых адвокатов, образовалась, можно сказать, аудитория, и он стал еще более красноречив.

— Почему я вам излагаю сие, уважаемый коллега? — продолжал Яценко.— Потому что люблю молодежь и не могу равнодушно взирать на ее заблуждения. Хочется предостеречь ее от шагов неосмотрительных и подчас неразумных. Делаю же я это по душевному влечению и с полным бескорыстием. Ведь я наставляю на путь истины моего в некотором роде конкурента, возможно себе в ущерб. Вот оперитесь, окрепнете и нас, стариканов, оттесните в сторону... Между прочим, коллега, дело Красикова я взял. Считаю его отнюдь не безнадежным.

— Ну что ж,— усмехнулся Ульянов.— Вам, как говорится, и книги в руки.

— А позвольте все-таки узнать, почему же вам они оказались не в руки? Признаться, интересуюсь этим до чрезвычайности.

— Извольте! — пожал плечами Ульянов.— Не хочу защищать заведомого вора и грабителя.

Яценко досадливо поморщился:

— Вора! Грабителя! Вы, коллега, переходите, так сказать, на категории морального свойства, что в нашей профессии неуместно. Мы с вами адвокаты и действуем в соответствии с установленными законами правосудия, каковые гласят, что каждый — будь он убийца, казнокрад, аферист, вор, грабитель — имеет право взять себе защитника.

— Право грабителя и вора на защиту я не отвергаю!

— Так разрешите узнать, что же вы отвергаете, мой молодой коллега?

Молодой коллега пристально посмотрел на толстое, холеное лицо самарского златоуста:

— Я отвергаю право защитника брать воровские, награбленные деньги!

— Кхм! — поперхнулся Яценко. Он был явно растерян. Очень неприятно получилось, в высшей степени неприятно! Вот эти господа, которые сейчас прячут улыбочки, разнесут по всему городу, как он оконфузился.

А господа адвокаты, стоявшие рядом, действительно смотрели на иего со скрытым злорадством. Коиечио, этот не очень понятный Ульянов слишком уж круто гнет, из таких убеждений шубы не сошьешь, ио, с другой стороны, не худо, что раздувшийся адвокатский премьер получил хороший щелчок по носу...

— Прошу извинить, мне надо идти,— сказал Ульяиов и быстро зашагал по коридору. Яценко, силясь изобразить на лице полное безразличие, церемонно поклоиился и пошел в другую сторону.



ПАССАЖИР С ПРОХОДНЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели.

Александр Блок

Обычно доктор ездил по железной дороге вторым классом. Первый он считал для себя дороговатым, а третьего избегал по причине многолюдья, тесноты и прочих неудобств.

Но однажды — это было ранней весной тысяча восемьсот девяносто седьмого года — ему все-таки пришлось познакомиться с этими неудобствами. По случаю масленичных дней выехать из Москвы оказалось чрезвычайно трудно, и если б не оборотистый носильщик, захвативший для доктора верхнюю полку в третьем классе, сидеть бы ему на Курском вокзале неведомо сколько времени.

Вагон дальнего следования, которым ехал доктор, был переполнен до удушья. Здесь, наверное, не удалось бы обнаружить даже вершок незанятого пространства. И вот так, стиснутые в узких вагонных стенах, зажатые среди мешков, узлов, котомок, корзин, люди едут сутками, неделями, забываясь только во сне, тяжелом, как грохотанье чугунных колес.

Глядя на тусклый, моргающий огонек в керосиновом

фонаре, доктор размышлял: «Говорят: яблоку негде упасть! А почему, собственно, яблоку? Что за единица измерения? Тут не яблоку, а горошине негде упасть... А еще говорят: в тесноте, да не в обиде. Нет, сюда это не подходит! Здесь люди в страшной обиде, в нечеловеческой обиде...»

За окнами рассвело, а доктор все еще ворочался на своем жестком деревянном ложе, безуспешно пытаясь заснуть. В уши лез назойливый храп соседей, кто-то вскрикивал со сна, надрывно, почти не умолкая, плакал ребенок... Потом забренчали чайники, кружки — верный признак приближающейся станции.

Когда поезд остановился, те, кто порезвее, кинулись к торговым рядам за вокзалом. Оттуда доносились громкие выкрики: «Кому сытных пирогов с горохом?», «А вот квас хлебный, квас клюквенный!»

Доктор медленно пошел вдоль поезда. Поташнивало, ломило виски, в горле пересохло. Не хотелось ни пить, ни есть, а только вдыхать утренний прохладный воздух.

За грязно-зелеными облупившимися третьеклассными вагонами следовали аккуратные второклассные, а дальше, сияя лакированными боками и зеркальными стеклами, стоял роскошный спальный вагон первого класса.

Он существовал как бы отдельно от всего поезда, скрывая за светлыми сборчатыми шторками жизнь своих обитателей. Но вот двое из них вышли наружу: дама в легкой накидке с голубым мехом и офицер, сверкающий позолотой пуговиц и погон.

Скользнув невидящим взглядом по лицу доктора, они стали прохаживаться у вагона, перебрасываясь французскими фразами. Они тоже существовали отдельно от всего, что было вокруг: и от многоголосого вокзального шума, и от выкриков с торговых рядов — от всего этого мира, где едят пироги с горохом и спят вповалку на мешках, узлах и торбах.

Мимо доктора мелкой рысцой пробежал проводник, держа в руках поднос, прикрытый накрахмаленной салфеткой.

Доктор посмотрел на его изогнувшуюся спину и повернул обратно.

Он шел глубоко задумавшись, глядя себе под ноги, и чуть не налетел на толпу, собравшуюся в кружок на

платформе. В центре его виднелась красная фуражка начальника станции. Какой-то молодой человек с рыжеватой бородкой клинышком говорил ему, точно подталкивая слова короткими взмахами руки:

— Соблаговолите все-таки объяснить, почему касса продает билеты в третий класс! Там и без того уже ни встать ни сесть!

Начальник пожал плечами:

— Ничего не могу добавить к вышеизложенному!

— Но вы же ничего еще не изложили! — Молодой человек придвинулся к начальнику вплотную.— Давка чудовищная! Вы обязаны прекратить продажу билетов и прицепить по крайней мере один свободный вагон.

Начальник молча воззрился на своего непрошеного собеседника. На скулах у него заиграли желваки. Молодой человек требовательно, в упор смотрел на него. Но тут прозвучали гулкие медные удары станционного колокола, рассыпался дребезжащий свисток обер-кондуктора.

— Господа, господа,— вскинулся начальник станции,— займите ваши места, иначе отстанете от поезда!

— Вывернулся! — угрюмо сказал кто-то из толпы.

Доктор с трудом пробрался на свое место. В вагоне как будто стало еще теснее. Неужели здесь смог поместиться хоть один новый пассажир?

И снова застучали колеса, поплыли мимо окон оттаявшие голые поля. Мысли доктора вернулись к только что виденному: начальник станции с ерзающими желваками на скулах, молодой человек с рыжеватой бородкой клинышком. Хочет прошибить кулаком стену, да еще какую стену! Что ж, разобьет себе кулак — и ничего больше...

Мысли доктора рассеялись, заглох настойчивый перестук колес. Открыв глаза, он с удивлением установил, что выспался, и весьма изрядно. За окнами переливался яркий солнечно-голубой день.

— Узловая. Стоим час без малого,— сказал кто-то из нижних пассажиров. И сразу захотелось крепкого, горячего чаю с лимоном.

На двери вокзального буфета было написано: «Для пассажиров первого и второго классов». У порога стоял мордатый швейцар и наметанным глазом определял посетителей. «Куда?! — выкрикнул он, придерживая пя-

терпей старика в картузе и рыжей поддевке.— Ваше заведение на том конце».

Доктор никогда не интересовался ни надписями на буфетах, ни швейцарами у дверей, а шел себе спокойно вперед. А сейчас он невольно задержался, поглядел искоса на свой помятый пиджак с налипшими соринками, потом на швейцара — а вдруг спросит: «Куда прешь?!»

Подумав это, доктор покраснел, нахмурился и, смотря прямо перед собой, направился в буфет. Чай оказался такой, какого желалось,— горячий, крепкой заварки, но похоже было, что доктор этого не оценил. Он сидел нахмурясь, рассеянно подталкивая ложечкой прозрачный ломтик лимона.

Покончив с чаепитием и расплатившись, он вышел из буфета и сразу же натолкнулся на происшествие. Опять толпа на платформе, но больше, гуще. Опять начальник станции в центре. Но этот был не один, а с какими-то железнодорожными чинами. Рядом с ними жандарм. И тот же молодой человек с рыжеватой бородкой клинышком.

— Нам уже известно, что вы и есть именно то самое лицо, которое собирает, так сказать, публику на каждой станции и... э... отвлекает от занятий дорожный персонал,— хрипел начальник, спотыкаясь о многочисленные междометия и приставки.— Изложите... э... ваши претензии, как положено... в письменной форме и не устраивайте, так сказать... э... эксцессов...

— Я полагаю, мы не будем тратить время на писание и прочтение бумаг,— хладнокровно ответил молодой человек.— Вы же сами отлично понимаете всю бессмысленность этого занятия! У вас спрашивают, какие меры примете вы, чтобы уменьшить дикую, безобразную давку в вагонах третьего класса. Люди едут в невозможных, немыслимых условиях. Среди них — кормящие матери, старики, старухи. Так дайте же хоть один дополнительный вагон.

Начальник станции обернулся к железнодорожным чинам и бросил одному из них, видимо помощнику:

— Поместите этого господина в служебное купе!

— Это вы меня собираетесь помещать? — Молодой человек насмешливо сощурился.— Вы, милостивый государь, плохо меня поняли. Речь идет о всех пассажирах

третьего класса, а не только обо мне, и вы обязаны принять меры. У вас же есть свободные вагоны!

Толпа зашумела. Жандарм приподнялся на цыпочки и задрал голову, как бы желая установить виновников этого шума.

Начальник стал шептаться со своими, и шея у него багровела все больше. Потом все услышали, как он с натугою прохрипел помощнику:

— Начальнику движения... э... передайте... пусть прицепит... к черту! Порожний, так сказать...

Молодой человек шагнул за ним:

— Позвольте уточнить, когда будет сделано?

Начальник затрясся:

— Э... теперь... сейчас! — и почти побежал к служебным помещениям вокзала.

Достав из кармана часы, молодой человек сверил их с вокзальными. Движения у него были неторопливые, спокойные, как будто он закончил мирную беседу.

У доктора, стоявшего поблизости, чуть не вырвалось: «Смотрите, все-таки пробил!» Возникло непреодолимое желание сказать хотя бы несколько слов этому удивительному пассажиру. Он подошел ближе и приподнял шляпу:

— Извините великодушно, но я хочу выразить вам восхищение и благодарность... Я убежден, что все пассажиры третьего класса уполномочили бы меня на это. Еще утром на одной из станций я наблюдал за вашими действиями. Да, к сожалению, я был только наблюдатель. Скажу откровенно, я не верил в возможность даже самого незначительного успеха. Но вы одержали победу!

Молодой человек слушал, чуть наклонив голову. Взгляд его темно-карих глаз был необычайно проницателен, точно говорил: «Сейчас узнаем, кто ты таков!»

Эта мгновенно произведенная оценка была, видимо, в пользу доктора. Молодой человек ответил благожелательно:

— Пожалуй, еще рано поздравлять. Пусть сначала прицепят вагон!

— Далеко изволите ехать?

— До Красноярска.

— Так мы же попутчики с вами! И я до Красноярска! — воскликнул доктор.— Тамошний житель. Врач.

Ездил по делам в Петербург и Москву, а теперь возвращаюсь восвояси... Тогда уж разрешите и представиться?! — Доктор снова приподнял шляпу и назвал себя.

— Очень приятно. Предвижу возможность пополнить свои небольшие познания о Сибирском крае.— Молодой человек в свою очередь отрекомендовался: — Ульянов. Помощник присяжного поверенного, а ныне — пассажир с проходным свидетельством. Пока что направляюсь в Красноярск, а что дальше — сие на усмотрение начальства.— В быстрых глазах говорившего засветилась усмешка.— Знаете, как теперь говорят? Дальше едешь — тише будешь...

Доктор буквально онемел от изумления. Как житель Восточной Сибири, он хорошо знал, что такое проходное свидетельство.

Это означает, что осужденный на ссылку следует к месту назначения не по этапу, а собственными средствами. С него берут подписку, что он обязан прибыть в указанный срок и немедля явиться для отметки в полицию. Останавливаться по дороге строго воспрещается. Если задержат — снова тюрьма и уже обязательно этап. И вот этот бесправный человек борется за человеческие права, добивается своего и побеждает...

— Знали бы они, с кем дело имеют, вот бы у них физиономии вытянулись! Представляете картину? — Новый знакомец рассмеялся как-то по-детски беззаботно.— А вы, доктор, в каком вагоне едете? — спросил он, утирая повлажневшие от смеха глаза.

— Вот в этом...

— Стало быть, мы с вами не только попутчики, но и соседи. Заходите в гости. Большого гостеприимства оказать не могу, но недостаток его мы восполним интересным разговором.— Он взглянул на часы.— Что-то не чувствуется никакого оживления в связи с прицепкой вагона. Загляну-ка я еще раз к господину начальнику станции... Так заходите, доктор! Вы в шахматы играете? Превосходно! Тогда сразимся! У меня они имеются...

Едва доктор возвратился в вагон и улегся на своей верхотуре, как во всех углах поднялась суматоха. На все лады повторялись слова о том, что прицепили свободный вагон. Чей-то озорной голос выкрикнул: «Новенько-ой! Что игрушечка! Местов — занимай не хочу!»

Позабыв о крайней ограниченности своего местопо-

ложения, доктор сел чересчур резко и стукнулся головой о верхнюю доску. Но он даже не заметил этого.

Ему хотелось аплодировать изо всех сил, не жалея ладоней, как студенту на галерке.

И тут он увидел «пассажира с проходным свидетельством», который пробирался сквозь вагонную кутерьму, внимательно оглядывая полки.

— Вы не меня? — крикнул ему доктор.

— Да, да, вас! Предлагаю вам перейти в дополнительный вагон.

Прицепленный вагон действительно был новый или заново отремонтированный. Двухместное купе с открытым окном, с полками, еще блестевшими свежей краской, показалось доктору необыкновенно уютным.

— Вот здесь мы с вами и поедем! — В голосе нового знакомца слышалось торжество.— Располагайтесь, доктор!

Он тотчас снял пальто и шляпу. С крупной головой, высоченным крутым лбом, с широкими и сильными плечами, которые были как-то незаметны под пальто, он показался доктору значительно старше.

— Приготовьтесь, доктор, к тому, что я буду вас нещадно эксплуатировать,— улыбка снова сделала это лицо юношески молодым,— буду все время выспрашивать вас о Сибири. Говорят, Сибирь — сказочная, необыкновенная страна. Будущее у нее такое, что дух захватывает.

Доктор слушал его как зачарованный: и это говорит человек, который осужден тянуть долгую лямку ссыльного в неведомой ему глухомани, где зима продолжается тринадцать месяцев в году, как невесело шутят тамошние жители...

Под вагоном точно продернули ржавый скрежещущий звук. Колеса отбили свой первый чугунный такт. Кирпичное здание вокзала стало медленно отворачивать в сторону.

Рядом со стрелочницей, высоко поднявшей свой флажок, стояла крошечная девочка и старательно махала ручонкой проходящему поезду.

«Пассажир с проходным свидетельством» высунулся из окна и махал ей до тех пор, пока она не скрылась из виду.

КРЕПКАЯ ПОДПИСЬ

Это был день второй или третий от Октябрьской революции — в точности установить невозможно. К парадному подъезду огромного казенного дома на Гороховой улице подошел мужичок в армяке, опоясанном бечевкой, с торбой за плечами.

Тяжелые двери оказались полуоткрыты, и это выглядело необычно: такие двери всегда бывают внушительно затворены, так что не всякий решится подойти к ним с первого раза.

Потоптавшись у входа, мужичок настороженно вошел в беломраморный вестибюль и огляделся. У стены, рядом с высоченным зеркалом, как и полагается, сидел непременный страж присутственных мест — в синей ливрее с золотыми галунами и с роскошной бородой веером.

Мужичок глянул на швейцара с выжидательной опаской, но тот даже не шевельнулся. Положив ладони на ручки кресла, глядя прямо перед собой, он как бы окаменел.

Покашляв тихонько, мужичок спросил:

— Которое начальство... из новых... тут оно?

Швейцар не ответил. Он сидел так же неподвижно. На его мясистом лице застыло странное выражение — и оскорбленное и растерянное.

Мужичок постоял, изучающе поглядывая на швейцара, потом произнес с растяжечкой: «Да-а... дела-а-а...» Оглянулся еще раз и шагнул к мраморной лестнице. И здесь тоже был явный непорядок: ковровая дорожка с медными прутьями сдвинулась вбок, валялись исписанные бумаги, на белых ступенях расплывались мокрые следы. Подымаясь по лестнице, мужичок оставлял такие же следы за собой, и похоже было, что он оттискивает их со старанием, точно желая, чтобы они подольше сохранились.

В длинном коридоре слышались голоса. Навстречу шел высокий, плечистый матрос с деревянной кобурой на боку. Поравнявшись с мужичком, поглядел с высоты своего роста на мятый картуз, на торбу, на пегую бороденку и спросил молодым баском:

— Вы, папаша, кого-нибудь дожидаетесь?

— Узнать требуется... который назначенный из нового начальства... здесь они будут?

— Народный комиссар, что ли?

— Во-во! — обрадовался мужичок.— Допустимо пройти к нему? Дело есть!

Матрос осторожно взял его под локоть:

— Шагайте, папаша, вот до той двери с дощечкой, видно вам? Там спросите товарищ Коллонтай. Она и есть народный комиссар.

Мужичок озадаченно посмотрел на него.

— Стало быть, комиссар... вроде бы...— он замялся, подыскивая подходящее слово,— вроде бы... женского сословия?

— Совершенно правильно, папаша! — Матрос широко улыбнулся.— Вы не сомневайтесь! Это сословие еще покажет себя...

Подтянув торбу, мужичок зашагал по коридору, но у двери с дощечкой круто остановился, точно перед ним возникло неодолимое препятствие. Смотревший ему вслед матрос сложил руки рупором:

— Папаша! Смелее! Не опасайтесь!

Услышав бодрую команду, мужичок толкнул дверь

и оказался в темноватом, холодном кабинете с пугающе огромным письменным столом. Он не сразу увидел, что у другого стола — небольшого, обыкновенного — сидела женщина с пышными светлыми волосами, в пальто, накинутом на плечи, и писала.

— Вы ко мне, товарищ?

Мужичок произнес нерешительно:

— Мне бы... комиссара от народа...

Она улыбнулась:

— Это я! Садитесь, пожалуйста... Садитесь, садитесь,— настойчиво повторила она,— в ногах правды нет...

Он неловко сел на краешек кожаного кресла, снял картуз, порылся в подкладке и протянул ей клочок бумаги. Там было написано в одну строку знакомым бисерным почерком:

«А. М.! Выдайте ему сколько там причитается за лошадь из сумм госпризрения. Ленин».

Александра Михайловна Коллонтай долго разглядывала бумажку, глаза у нее улыбались. Маленькая записка хранила интонацию, взгляд, жест ее автора. Наверно, писал на ходу, положив клочок бумаги на подоконник или прижав его к стене...

Можно было ожидать, что сейчас последует длинный, сбивчивый рассказ со всяческими подробностями и отступлениями. Но мужичок говорил кратко и складно и даже такие трудные слова, как «реквизиция» и «компенсация», произносил почти без запинки. Ясно было, что эту историю он рассказывал уже не раз. Сам-то он из недальних крестьян — новгородский. В шестнадцатом году реквизировали у него лошадь для военной нужды. Дали бумагу, что выплатят компенсацию. Покуда дожидались той компенсации — скинули Миколку-царя. Что тут делать? Решил отправиться в питерскую столицу. Больно хорошая лошадь. Жалко. Сколько годов копили, отдали за нее полсотенную бумажку. Вот с той поры и ходим. Полоска незапаханная, прохарчился до последнего. А ответ такой со всех сторон: кончим войну с победою, и получишь свое... А в иных местах вовсе не желают разговаривать и не допускают. Особенно дворники эти с бляхами, писаря да швейцары...

— А здешний швейцар вас не задерживал?

— Не-е-е... Сник! Одна борода осталась! — На мор-

щинистом темном лице явилась неожиданная озорная улыбка.— А борода что? Она и у козла растет! Так что тут хвастоваться нечем!

У народного комиссара в голубых, ярких глазах засветилась усмешка. Вопрос о швейцаре был задан неспроста. Не далее как вчера осанистый, бородатый страж не пустил в министерство государственного призрения только что назначенного народного комиссара Коллонтай: «Не велено принимать прошений!»

Напрасно Александра Михайловна объясняла, что пришла сюда не с прошением,— он твердил свое: «Знаем, знаем, все вы не с прошениями, а потом за вас нагоняй от начальства!»

Так было вчера. А сегодня даже чуть привстал, когда она вошла в вестибюль. Как говорится, сдвиги налицо...

— А как вы с товарищем Лениным повстречались?

— В караулке повстречались! Я там у земляков ночевал! Нынче вроде бы идет замирение с германцем, так земляки прибыли с фронту и состоят в смольном карауле. Ленин туда и зашел. Поздненько было, ребята меня за ноги с нар: вот Ленин тут, обращайся!.. Поговорили мы с ним честь по чести. Хотя, говорит, это и царский долг, а мы не собираемся за их отвечать, но этот выплатим! — Мужичок испытующе поглядел на свою внимательную слушательницу.— Какое будет решение? Выплатят?

— Товарищ Ленин — председатель Советского правительства. Его распоряжение должно быть выполнено... Идемте, товарищ!

Мужичок едва поспевал за невысокой, стремительно двигавшейся женщиной. Они прошли через несколько пустых комнат с беспорядочно повернутыми столами и стульями, раскиданными повсюду бумагами. «Да-а-а,— бормотал мужичок, оглядываясь по сторонам,— дела-а...»

В просторной комнате, куда они вошли, было посветлее от длинного ряда окон, выходивших на улицу. И тут все стояло как придется, вкривь и вкось, и грудами валялись бумаги. Возле приземистого стального шкафа сидел на корточках парень в замасленной кепке, в руках у него шипела паяльная лампа.

У другого шкафа, с приоткрытой дверцей, стоял

матрос с винтовкой. Женщина в платочке и мужчина в канцелярских нарукавниках разбирали на столе папки с бумагами и конторские книги. А поодаль в странных, напряженных позах сидели два представительных господина: один — в форменном сюртуке, второй — в черной паре с выпуклой крахмальной грудью. Позади них поместился матрос — еще выше и шире, чем тот, который повстречался мужичку в коридоре.

— Первый номер готов, Александра Михайловна! — сказал подошедшей Коллонтай парень в кепке.— Скоро и второй откроем!

Господин в черном с грохотом отодвинул стул и вскочил. Почему-то бок и плечо у него были испачканы мелом, и весь он, с нечистой крахмальной манишкою, с жидкими, растрепанными волосиками на багровой лысине, походил на проигравшегося бильярдного игрока.

— Я выражаю протест! — выкрикнул он, задыхаясь.— Здесь происходит ограбление со взломом... среди бела дня!

Сидевший с ним рядом господин в форменном сюртуке проскрипел:

— Это насилие! Меня подняли с постели!..

Коллонтай подошла к ним почти вплотную.

— Советская власть предложила вам оставаться на своих местах и продолжать работу! — жестко сказала она.— Но вы, господа чиновники, и ваши коллеги предпочли действовать по-другому: спрятали ключи от сейфов, уничтожили и разбросали деловые бумаги, все тут разорили, перевернули и разбежались. Но тысячи других людей, слабосильных и беспомощных, не могут ждать, когда вы соблаговолите переменить свои позиции... Советская власть не позволит, чтобы остановилась работа, от которой зависит существование таких людей. Не желаете отдавать ключи — сами откроем! — Тонкие брови у нее сдвинулись.— А вас доставили сюда для того, чтобы все произвести в вашем присутствии. При вас сосчитаем каждую копеечку, все запишем. Товарищ Королева! — обратилась она к женщине в платочке, разбиравшей папки.— Товарищ Королева, вы назначаетесь главным кассиром... Да, да, я предвижу ваши возражения! Вы так называемая низшая служащая, нет опыта и все прочее... Ничего, товарищ Королева! Научимся!

Обернувшись к мужичку, который не сводил с нее глаз, Александра Михайловна произнесла не без торжественности:

— У этого товарища, трудового крестьянина, реквизировали в прошлом году единственную лошадь. Ни у царских чиновников, ни у Временного правительства он не мог добиться уплаты обещанной компенсации. Сегодня ему выдается пособие — первое при Советской власти!

Господин в черной паре подпрыгнул, как игрушка на пружине:

— Протестую! Реквизированные лошади не относятся к министерству государственного призрения, это по военному ведомству! Где основание для выплаты, где оно?!

— Основание? Извольте!

Господин в черной паре недоуменно уставился на протянутый ему клочок бумаги.

— Возьмите, возьмите,— спокойно сказала Коллонтай.— Ознакомьтесь!

Точно боясь обжечься, он взял бумажку за самый краешек, скользнул по ней взглядом и процедил:

— Не п-понимаю! Что значит — выдайте ему? Кто, где, откуда?

— Взгляните на подпись!

Придвинув бумажку поближе, господин в черном долго держал ее перед глазами, потом дернул шеей, точно ему давил воротник.

— Вот оно, основание! — весело сказала Коллонтай.— Нам другого не требуется! Могу вас заверить, что это очень крепкая подпись. И чем дальше, тем крепче она будет. Советую подумать об этом, господа. Вы, кажется, не заметили, что произошла великая народная революция!

И, точно в подтверждение ее слов, задребезжали стекла в широких окнах, и приглушенный звук пушечного залпа донесся до ушей присутствующих. Залпы следовали один за другим, сотрясая стекла. Похоже было, что вдали выколачивают гигантский матрац...

А мужичок тем временем поставил закорючку в свежеразлинованной ведомости и, прощупывая каждую бумажку, стал пересчитывать деньги. Пересчитал два раза, засунул их в подкладку картуза, оглядел всех и,

как бы испытывая неловкость, быстро, мелко перекрестился:

— Слава тебе господи! Наша взяла!

Если бы этому мужичку сказали тогда, что и он займет местечко в истории великих Октябрьских дней,— он бы, наверно, только усмехнулся в пегую бороденку:

— Какая там история? Скажете тоже...

А между тем так и произошло. Имя его не сохранилось, но сам он, со своей торбой, в армячке, опоясанном бечевкой, со всеми своими словечками, навсегда остался на страницах воспоминаний как первый человек, получивший по записке Ленина первое пособие от Советской власти.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

В пропуске, который выдал ему Дзержинский «на право вхождения в Смольный институт», он был поименован как Джон Реед — согласно английскому правописанию,— а называли его по-разному: товарищ Рид, товарищ Ред (с крепким нажимом на русское «е»). Ему даже нравилось это «Ред», означавшее в переводе «красный», «революционный»,— совпадение на редкость удачное.

Здесь, в Смольном, его уже хорошо знали. Часовые, стоявшие снаружи и на внутренних постах, особо уважительно здоровались с американским товарищем, который «пересек для них земной шар», как было позже о нем сказано. Часто на площади перед Смольным и в коридорах его останавливали красногвардейцы в черных поношенных пальто, с винтовкой через плечо, солдаты в ватниках или плохоньких шинелях, матросы, больше других сохраняющие свой морской «шик».

— Руку, камрад!..

Он смущенно улыбался, не сразу находя парочку-другую русских слов из своего небогатого лексикона и чувствуя некоторое внутреннее смятение; эти удивитель-

ные люди, делавшие небывалую революцию, видели в нем живое доказательство того, что существует еще одна Америка, которая душою вместе с ними, а сделано еще, в сущности, так немного...

Поздней осенью в огромном, всегда бессонном, всегда освещенном здании невозможно определить время, если не свериться с часами. Почти не рассветает за окнами, круглые сутки не гаснут лампы, и кажется, что ни на одну минуту не останавливается людское движение в этих длинных коридорах.

Второй час ночи, а из совнаркомовской приемной все еще не ушли посетители. Это проходная комната, разделенная невысоким барьером. Бóльшая часть ее — со стульями и деревянным диваном — отдана посетителям. Сейчас здесь, похоже, идет какое-то совещание: положив на диван неровный сероватый лист бумаги, согнувшись над ним и мусоля карандаш, сидит пожилой человек в кубанке. Его обсели со всех сторон, кое-кто устроился возле дивана на корточках. Тут несколько бородачей с дублеными лицами и люди помоложе. Рядом, в углу, сложены их поддевки, шинели, хотя в приемной вовсе не тепло.

Они так поглощены своим делом, что не замечают Рида, который остановился и вслушивается в гудение их голосов, заглядывает через головы. На бумаге — какие-то столбики цифр, кривые строчки букв. Жаль, что ничего нельзя понять, и он идет дальше, в секретариат Совнаркома.

Здесь тихо сейчас — если это выражение может быть применено в Смольном. Маленькая машинистка с косичками — за своим столиком она почти вровень с машинкой — улыбнулась ему и сразу же снова застучала по клавишам. Горбунов, секретарь Совнаркома, молодой человек в зеленом френче, оторвался от бумаг, подошел, энергично потряс руку.

— Здравствуйте, товарищ Рид!

Разговаривают они на удивительном языке — причудливой смеси английских, русских, немецких, французских слов, но понимают друг друга неплохо. Рид сообщает, что он «имел говорить телефоун с кэмрид Ленин» и что отвечено ему было так: к сожалению, точное время для встречи установить трудно, скорее всего, это будет около двух часов ночи.

— Вероятно, там скоро закончат,— говорит Горбунов, взглянув на дверь, ведущую в кабинет председателя Совнаркома.— А вы пока что посидите,— он юмористически почесывает в затылке,— только на чем, собственно?.. Все свободные стулья взяли туда... впрочем, одну минуту,— он быстро снимает с табурета, приставленного к столу, груду папок и книг.— Вот вам отличная табуретка!

Рид старательно повторяет «та-бу-ред-дка», а потом спрашивает, нельзя ли узнать, что происходит в приемной, что там за товарищи и что они пишут?

— Там идет заседание Совнаркома. Срочное. На ходу. Собрались наркомы земледелия, народного образования, военных и внутренних дел, почты и телеграфа... Серьезно, товарищ Рид,— Горбунов улыбается, встречая недоуменный взгляд Рида.— Эти товарищи прибыли с Северного Кавказа... В городке с четырехтысячным населением создали свой Совнарком... Были у Владимира Ильича с просьбой: издать декрет, утверждающий их права, и отпустить средства. Ну, переговоры происходили в атмосфере, так сказать, дружелюбно-веселой. Владимир Ильич спросил, есть ли у них нарком по иностранным делам? Выяснилось, что внешней политикой занимается сам председатель Совнаркома... тот, в кубанке, которого вы видели... Работали они, однако, хорошо. Владимир Ильич одобрил, рекомендовал им называться отныне Ревкомом и немедля представить ему бюджетную смету. Одну, между прочим, уже забраковал... Вот они теперь сочиняют вторую!

— О, какой интерестинг!

Рид пристраивает табурет в углу, садится, кладет на колени плоский кожаный чемодан, вынимает из кармана блокнот. Который по счету? Сколько их уже исписано? Он и сам не мог бы назвать их число. И вот, допустим (об этом Рид думал с содроганием несколько раз), что при каких-то несчастных обстоятельствах блокноты утеряны! Кому бы они оказались нужны? Кто понял бы, что содержится в них?

Какие-то немыслимые значки — его собственная стенография; обрывки английских фраз, заметки с невероятными сокращениями; сотни русских слов, записанных латинскими буквами. Вернее всего, что эти блокноты оказались бы в печке за ненадобностью. Для него же

они — и в этом нет преувеличения — если не дороже жизни, то наравне с нею...

Усевшись поудобнее, он раскрыл блокнот на чистой странице. Еще не полностью уложен сюда сегодняшний улов. Все, что происходило теперь вокруг, все, что он видел и слышал — великое и малое, печальное и смешное,— все было Историей, захватывающей, волнующей, неповторимо интересной, и он боялся только одного — не упустить бы что-нибудь!

Вот эти наркомы из дальнего угла новой России — как это поразительно, необыкновенно! А эта женщина, которая несколько часов назад сказала на собрании белошвеек: «Пора выбить буржуйчиков из седла их собственности!» А новые деревянные мостки,— по ним он шел сейчас через полузамерзшую слякоть до главного подъезда Смольного. Мостки не только удобные, они, можно сказать, и символические: как бы знаменуют solidity, firmness — солидность, прочность новой власти!

А вот эта канцелярия при Совете Народных Комиссаров, с ее простыми конторскими шкафами, столами, разномастными стульями, самодельной вешалкой, наскоро прибитой у кабинета председсовнаркома. Ее можно обставить любой, самой великолепной мебелью из любого бывшего министерства, но здесь такое даже представить невозможно...

Дверь из кабинета Ленина открылась. Шумно, точно школьники на перемену, оттуда вышли люди, хорошо знакомые Риду: блеснул сухо протертыми стеклами пенсне Свердлов, прошел грузноватый Бонч-Бруевич с туго набитым портфелем, Подвойский в солдатской шинели, Дыбенко — огромный, чернобородый матрос с задумчивыми глазами, мелькнул медальный профиль Володарского...

— Сейчас бы стакан чаю, горячего до слез! — пробасил Дыбенко.— Следуем за Бончем в Управление, там дадут!

Потом на пороге показался Ленин в наброшенном на плечи пальто, приветливо помахал Риду, сказал по-английски: «Еще минут десять, думаю, не больше!» Горбунов принес из кабинета освободившиеся стулья, расставил их. Ленин задержался возле его стола, спросил: «Николай Петрович, утренний протокол в порядке?» Горбунов протянул ему исписанный лист.

Большой Эл (так между собой называли Ленина собратья по перу — Джон Рид, Альберт Рис Вильямс, Луиза Брайант, Бесси Битти) изменился с того дня, когда впервые появился в Смольном. Тогда он был бритым, резче выступал широкий, крепкий подбородок, твердый, крупный рот. Теперь у него отросла небольшая бородка, усы.

Сдерживая улыбку, Рид вспомнил жалобы Петра Оцупа — петроградского фоторепортера. Встретив Ленина в Смольном вскоре после Октябрьских дней, Оцуп попросил разрешения сфотографировать его, на что получил такой ответ: «Знаете, лучше подождем, когда я приму свой обычный вид». Судя по рассказам тех, кто давно знает Ленина, он уже приблизился к своему обычному виду, и теперь ему навряд ли удастся уберечься от кремнево настойчивого Оцупа. «Только не забыть бы попросить снимок, если у Оцупа выйдет дело»,— отметил Рид в своем «мысленном блокноте».

Закончив чтение протокола, Ленин положил его на стол, нагнулся, поставил свою подпись и, взяв чистый лист бумаги, сложил его вчетверо, аккуратно оторвал маленький прямоугольник и, все так же наклонившись над столом, стал быстро писать, подчеркивая некоторые слова.

«Капитан что-то решил»,— подумал Рид. Это сравнение было не слишком оригинально для такого первоклассного журналиста, каким считали Джона Рида, но оно казалось самым точным, правильным, подходящим. Капитан!

Да, именно капитан — с проницательно-зоркими, поблескивающими глазами...

Написав то, что было нужно, Ленин передал записку Горбунову: «Прошу сделать копии и сразу же разослать с самокатчиками». Затем он повернулся к Риду, сделал пригласительный жест.

В пустоватой угловой комнате с тремя окнами была открыта форточка, и пронзительно-резкий ветер свободно гулял в ней.

— Накурили так, что нечем дышать,— сказал Ленин.— А вы не боитесь, что вас продует?

— Это ветер революции! — серьезно ответил Рид.— Он не причинит мне вреда!

— Будем надеяться, но все же отсядем лучше в сторонку.— Ленин показал на стулья, стоявшие у противоположной стены. Верхний свет в кабинете был выключен, зеленый абажур настольной лампы плавал, как луна, в затемненной комнате. В незавешенные окна смотрела аспидно-черная ночь, и было слышно, как редкие капли дождя постукивают в стекла.

— Погода имени Достоевского, как называет ее моя жена,— сказал Ленин.— Не знаю, нравилась ли ему такая погода, но он так ее описывал, что у читателей начинали болеть суставы... А как ваши успехи в изучении языка? — перешел он на русский.

Риду было известно, что Ленин охотно, даже с увлечением беседует на эту тему. При каждой встрече с ним и его друзьями-журналистами Большой Эл обязательно справлялся об успехах, даже устраивал легкие экзамены, не забывая при этом добавлять с добродушной усмешкой: «С американцами разговаривать не советую, никакой пользы не будет... все время говорите, читайте, пишите по-русски!»

Наиболее преуспел по части русского языка Вильямс. «Смотри, не сядь на клей!» — напоминал ему Рид известную английскую поговорку. Но Вильямс храбро выступал на петроградских митингах и собраниях, отказываясь от переводчиков. У него имелось испытанное предисловие, которым он широко пользовался. «У нас в Штатах, на диком Западе,— начинал он,— существует ресторанчик, где над пианино прицеплена такая надпись: «Публику просят не стрелять в музыканта! Каждый играет, как умеет!» Потом, разумеется, он обращался с такой же просьбой к своим слушателям. Однажды это вступление слушал Ленин и вместе со всеми смеялся и аплодировал...

Мысленно сложив очень длинную английскую фразу, Рид стал медленно произносить ее по-русски — пока еще он не мог действовать иначе. Он объяснил, что имеет теперь много журналов со статьями Ленина, его брошюр и книг,— конечно, дореволюционного издания, новых почти нет,— и читает их все подряд со словарями.

Ленин весело посматривал на своего собеседника.

— Оцениваю ваши успехи как выдающиеся! Наш язык действительно очень трудный, но и английский

не легок, вопреки установившемуся мнению. Оба они трудны именно своим богатством, огромностью... Помню Лондон. Англичане, как и мы, вечно спорят, законен ли такой-то оборот речи, правильно ли ударение... носят словарики в карманах,— он хитровато прищурил глаз.— Кстати, товарищ Рид, не считайте сочинения Ленина наилучшим пособием. Почти все они написаны в условиях полицейской цензуры. Мы слишком часто вынуждены были пользоваться языком старика Эзопа... Много иностранных слов, много цитат из иностранных авторов... И в конце концов, это публицистика. А наша художественная литература? Пушкин, Толстой, Тургенев, Гончаров! Басни Крылова! Их трудно переводить, но какая это прелесть! А Чехов, Горький?.. Слушайте, да у вас же теперь неслыханная возможность с головой окунуться в стихию самобытнейшего, неподдельного русского языка! Теперь за ним не надо ездить в деревню Кочки Калуцкой губернии! Кругом вас народ — солдаты, матросы, рабочие, крестьяне... А уж они-то умеют разговаривать по-русски...

Рид слушал Ленина с наслаждением, и в то же время его терзало — да, терзало — тягостное сознание, что он не может записать слово в слово этот разговор. Он только несколько раз дотрагивался до кармана, где лежал блокнот. Тренированная журналистская память не подведет, но лучше, когда в руках карандаш. Достать же блокнот при Ленине, начать записывать — это недопустимо, бестактно.

Очень легко представить, как отнесется к этому Большой Эл. Посмотрит искоса, чуть нахмурится и если даже не скажет ни слова, все равно станет ясно, что он думает сейчас про себя: «Мне кажется, что я с вами разговариваю, а не даю вам интервью для печати!»

Так же как он не любит фотографироваться, точно так же не любит он и когда его записывают «для истории». Опасно начать доказывать ему, что «каждое его слово должно быть сохранено для потомства». Он и от своих секретарей постоянно требует, чтобы выступления на всяческих заседаниях и совещаниях — в том числе и его собственные — записывались покороче: только самое существенное, суть, факты. «Это документы, а не беллетристика!»

Рид украдкою смотрит на часы. Прошло уже больше пятнадцати минут, как он здесь. Необыкновенная, недопустимая роскошь — разговаривать с Лениным столько времени о петроградском климате и о методах изучения русского языка.

Но Ленин сам ведет беседу, и кажется, что сейчас она и есть самая важная для него. И это не акт вежливости. Эта черта настолько органична, естественна в нем, что вводит иногда в заблуждение некоторых товарищей. Так было, например, еще с одним земляком Рида — художником Робертом Майнором.

Майнор не раз бывал у Ленина, имел с ним обстоятельные беседы и, наивно восхищенный, воскликнул однажды:

— Товарищ Ленин, у вас, наверно, больше свободного времени, чем у кого бы то ни было?!

— Нет, товарищ Майнор, вы ошибаетесь! — голос Ленина звучал грустно.— Мне всегда его не хватает! Я всегда сожалею, что его приходится тратить еще и на сон! Досадное несовершенство природы, но, увы, мы не можем полностью его игнорировать!..

Вошел Горбунов, держа лист сероватой бумаги с неровными краями. Ленин скользнул по ней мгновенно оценивающим взглядом:

— Ага, наши приезжие наркомы изготовили новую смету? Давайте-ка ее сюда! — Он придвинул к себе лампу, взял остро отточенный карандаш.— Ну, опять запросили лишку... замах поистине республиканский,— он подумал секунду, что-то перечеркнул, что-то надписал поверх строчек и цифр.— Сделаем вот так... И прошу, проследите сами за всем ходом! Пусть не теряют ни одного лишнего дня, а сразу едут домой. Там у них дел выше головы... И передайте им от меня самые лучшие пожелания!

После ухода Горбунова Рид заторопился: открыл свой чемодан, вытащил из него пачку газет и с некоторой торжественностью, на вытянутых руках, подал их Ленину.

— А-а-а,— оживился Ленин.— Ну, для такого случая перейдем к столу... только форточку предварительно закроем. Вот так... Придвигайтесь ближе со своим стулом!

Медленно, сосредоточенно разворачивал он похру-

стывающие листы из волокнистой бумаги, еще пахнущие свежей типографской краской, задерживался взглядом на некоторых колонках, рассматривая заголовки.

Рид следил за ним не отрываясь, на лице его было выражение гордости, торжества: в эти газетные листы, выражаясь возвышенно, вложена и его душа. Для него они значат даже больше, чем являются на самом деле. А значение их очень велико — так считает и Ленин.

Теперь он, журналист Джон Рид, не только chronicler, annalist — по-русски говоря, летописец, хотя он никогда и не был бесстрастным изобразителем событий — и когда писал о восстании мексиканских пеонов, и о тысячеверстных могилах, которые называются окопами, о людях-обрубках, заполнивших панели Европы, и о кровавых схватках забастовщиков у себя на родине. Но теперь он еще и практический работник революции, сотрудник БМРП.

Бюро международной революционной пропаганды печатает брошюры, газеты, листовки на языках воюющих стран, помещает в них переводы речей Ленина, декреты Советской власти о мире и земле, воззвания, обращения, солдатские письма, военные и политические обзоры, и все это уходит за рубеж.

Вот эти газеты, которые сейчас лежат перед Лениным, изданы на немецком языке. Даже по масштабам вполне приличного капиталистического государства дело ведется крупно: тираж «Факела» — полмиллиона.

«Факел» сбрасывают с аэропланов, смельчаки пробираются с ним в расположение германских и австрийских войск через завалы, минные поля, проволочные заграждения. «Факел» уносят с собой тысячи военнопленных, оказавшихся в России и теперь отпущенных на свободу.

— Да, это будет посильнее снарядов, гранат, шрапнели.— Ленин крепко потирает руки.— Сильная работа!.. Я бы, пожалуй, добавил только одно: заголовки должны сразу выражать главное. Читатель должен понять с первого взгляда, о чем речь. Ведь не требуется же вам заинтриговывать его? Читатель ваш таков, что ему бы только успеть прочесть заголовок иногда!.. А вся работа замечательная, замечательная!

Он встал из-за стола, быстро прошелся, почти пробежал по кабинету.

— Перетянем у них солдат! — громко сказал он.— Братание — уже такой факт, что все эти гинденбурги и людендорфы ничего не сумеют поделать! Не помогут их военно-полевые суды, расстрелы и тюрьмы!

У Рида перехватывает дыхание. Вот так бывает, когда разговариваешь с Лениным. Как будто свыкся — хоть и ненадолго — с этим обыкновенным кабинетом и его хозяином — обыкновенным человеком в обыкновенном пиджаке и галстуке. И вдруг мысль-вспышка: это же тот Ленин, который все дальше и дальше сдвигает необозримо-огромные людские пласты, начавшие свое неодолимое движение.

А он стоит рядом и говорит, поблескивая глазами:

— Братание, штыки в землю! Да!.. Но нужно умело объяснять, чтобы они не бросали оружие. Понадобится... Они еще сами будут решать вопрос о мире. Как решают его наши солдаты. Агитацию надо ставить шире. Не полмиллиона, а миллионы экземпляров! Бумагу и типографии найдем. Мы еще не брались за это как следует.

Он достает из-под стопы книг, лежащих на письменном столе, несколько газет с названиями, набранными броским жирным шрифтом, и каким-то брезгливым движением сует их под свет лампы.

— Не угодно ли? «Вечерние огни», «Петроградское эхо» и прочие... Мы разрешили им выходить на условиях ясных и определенных: не вставляйте нам палки в колеса, не распространяйте всяческие подлые и грязные слухи, не клевещите, не разводите панику! И вот вам махровый букет! Здесь вы все найдете — вплоть до приглашения германцев и вообще всех желающих занять Петроград и ликвидировать, как они изволят выражаться, «большевистское засилье»... Но мы тоже не дурачки. Мы вправе защищать революцию от этих рептилий! Как раз сегодня я разговаривал об этом с Володарским... Мы их прикроем, а типографии и бумагу отдадим для настоящего дела!.. Скажите, товарищ Рид, вам не ставят никаких... этих, как их? — он щелкнул пальцами, стараясь припомнить ускользнувшие из памяти английские слова.

По смыслу фразы Рид понял, какие слова требуются, но Ленин предостерегающе поднял руку:

— Нет, нет, сейчас вспомню сам... вот, на языке вертится.

Он потер лоб и вдруг выкрикнул с каким-то мальчишеским восторгом:

— Ага, есть, Вот, пожалуйста, на выбор! Obstacle! Impediment! Hindrance! Препятствие, помеха! Никто не смеет препятствовать в таком деле! А если возникнет что-либо — прошу прямо ко мне!

Зазвонил телефон. Рид встал, но Ленин показал рукою — сидите, сидите!

— Что? — спросил он в трубку.— Сожалеете, что в такой поздний час? Но ведь и вы же бодрствуете, не так ли?.. Ни в коем случае! Безусловно обязаны подчиняться! Разъясните им популярно, что все учреждения — все до одного — отныне советские... мы от них не требуем, чтобы они садились изучать Маркса. Пусть добросовестно исполняют свои обязанности, этого вполне достаточно...

Рид смотрел, как острый грифель бегает по бумаге, оставляя за собой бисеринки букв. «Всегда будет больше своей славы, хотя уже и сейчас она неизмерима,— отмечает он в своем «мысленном блокноте».— Никогда не глядится в историческое зеркало... Ни фразы, ни позы. Все-таки здóрово сказал о нем Вильямс: полное нежелание заниматься своим мировым «я». Будто он только дублер великого Ленина!»

Ленин положил трубку, и Рид опять поднялся. Кажется, что тьма за окнами сгустилась еще больше. Донесся металлический скрежет броневика.

— Можно бы пройтись по набережной полчасика,— голос у Ленина звучит устало,— но что-то нездоровится Надежде Константиновне. Простудилась, промочила ноги...

Рид ощущает крепкое пожатие его руки.

— Be good!

Это доброе английское пожелание. Оно произносится во многих случаях — в том числе и как «спокойной ночи!»...

В коридорной нише Рид находит именно то, что ему нужно: стулья, поставленные один на другой, конторскую тумбочку. Вероятно, готовится к утру вселение или переселение какого-нибудь отдела, комиссариата — здесь это бывает часто.

Он подставил себе стул, подвинул тумбочку, извлек из кармана пестрый ситцевый кисет — уже обзавелся

настоящим солдатским кисетом,— нарезанную квадратиками газетную бумагу. «Cigarka», как значилось у него в блокноте, вышла уродливой, похожей на искривленный палец, но это не мешало затягиваться колючим дымом «machorka». Теперь можно взяться за дело. Ночной улов был фантастически счастливым, надо скорее перенести его в блокнот.

Мимо волокли что-то тяжелое, может быть несгораемый шкаф или же пулемет, звякали котелки, топали подметки по гулкому полу, звучали голоса — все это не задевало сознания. И только почувствовав чье-то прикосновение к плечу, Рид поднял голову.

Перед ним стоял Горбунов с папкой под мышкой, с длинной, перекрученной телеграфной лентой, похожей на серпантин. Он не удивился, а только улыбнулся:

— Добрый вечер... виноват, доброе утро! А впрочем, черт его разберет, мы тут все путаем, что когда...

ПОСЛЕДНИЕ ПОСЕТИТЕЛИ

Комендант спал, неловко примостившись на короткой скамье, ноги в матросских «бульдогах» свешивались почти до полу. Рядом громко разговаривали простуженными, прокуренными голосами, стучали винтовочные приклады, завывала телефонная вертушка, а он спал с прилипшей к губе цигаркой — наверно, так и свалился на ходу.

— Митрич, тут до тебя люди. Разберись!

Бравый усач в кубанке слегка потянул коменданта за рукав. Тот проснулся мгновенно. Сел, провел ладонью по лицу, точно умылся, чиркнул колесиком зажигалки, привычно острым взглядом окинул посетителей. Тысячи их прошли перед ним через смольнинскую комендатуру за эти короткие месяцы, и он немало усвоил из той науки, которой нигде не обучают: видеть в человеке больше, чем написано в его документах.

Сейчас перед ним стояли двое. Молодые, давно небритые лица, замерзшие до синевы. На одном — солдатский зимний треух, продувное пальтецо, на другом — ватник, облезлая котиковая шапка, в руке — матерчатый саквояж.

Комендант заглянул в их удостоверения:

— Садитесь, товарищи... Вы с каким делом?

Слушал он молча, не расспрашивая, не перебивая, потом сразу остановил их:

— Понял вас, товарищи, дальше не объясняйте... А вот как мне пропустить вас — не знаю. Там заседание идет, а это уже до ночи.— Он потоптался возле них.— Ну ладно, буду звонить,— и, сняв трубку с деревянного ящика, покрутил ручку: — Это кто? Юля?.. Что там у тебя слышно?

Посетители тревожно прислушивались, как он однообразно повторял в трубку: «Так... Так... Ясно... А когда сдаешь?.. Так», а потом заговорил о них: «Тут, Юля, пришли ко мне два товарища, дело у них, понимаешь ли» — и быстро передал неведомой им Юле то, что было ему рассказано.

— Стало быть, так, товарищи,— произнес он, положив трубку.— Пропуска я выдам, а как дальше сложится — не знаю.— Он достал из кармана два цветных квитка.— Значит, ты будешь товарищ Александров, а ты — товарищ Васильев? Так и запишем... Санки свои вы где поставили? На улице? Ну и ладно, пускай там и стоят, их никто не тронет. Оружие есть? Оставьте у меня на сохранение. Вот сюда положите, на стол...

С некоторой иронией он посмотрел на маленький браунинг, который извлек товарищ Васильев, уважительно — на блеснувший вороненой сталью наган.

— Это еще не все! — сказал Александров и, щелкнув замком саквояжа, вынул из него предмет, несомненно относящийся к огнестрельному оружию.

— Вот это штучка! — сказал комендант.— Я такого не видывал. Как называется?

— Да мы еще сами толком не разобрались. У нас завод бывший военный, есть такая комната вроде музея. Оттуда и взяли на дорожку. Для устрашения. Мало ли какой случай!

У стола уже собралась почти вся комендатура. Это был народ, вооруженный, как говорится, до зубов, увешанный гранатами, кобурами всех видов и размеров, пулеметными лентами. Они с детским любопытством разглядывали незнакомое оружие.

— Вроде бы штуцер,— сказал кто-то.

К столу подошел высокий, подтянутый военный с офицерскими усиками.

— Штуцер, товарищи, это винтовка особого устройства,— заговорил он тоном лектора.— В армии выдавали их только унтерам. У нас он не применяется с японской войны... А это вы видите ручной пулемет Шоша. Штука отнюдь не музейная, а весьма эффективная в бою...

Комендант, слушавший его с чрезвычайным интересом, спохватился:

— Вы, товарищи, идите на третий этаж, в совнаркомскую канцелярию. Левое крыло. Прямо к Юле Сергеевой. Она на дежурстве и в курсе вашего дела.

Оттого, что комендант так по-свойски произносил это имя — Юля Сергеева,— им казалось, что и они уже знакомы с нею. Придя в комнату, где одна половина пустовала, а другая была заставлена столами всех мастей, они сразу подошли к крайнему.

Беленькая девушка кивнула им и сказала, точно продолжая прерванный разговор:

— А на бумажке написали? Ну, краткое изложение...

Они растерянно переглянулись. Не дожидаясь ответа, она протянула им узкую, длинную полоску бумаги, карандаш.

— Садитесь вон за тот столик у окна и напишите. Только покороче. Суть.

С теми же растерянными лицами они пошли к окну и сели за стол, похожие на школьников, которых строгий учитель отсадил в сторону.

— В голову ничего не лезет,— тихонько сказал Васильев.— Требуется покороче... А как покороче?

— Покороче труднее,— нахмурился Александров.— Главное, приступиться трудно...

В комнате с перебоями постукивала машинка, раздавались звонки, кто-то входил, уходил, а они сидели, почти с отчаянием глядя на полоску бумаги. Вся усталость длинного-длинного дня, который начался как будто не этим утром, а очень давно, навалилась на них. Ныли руки, ноги. Глазам больно было смотреть на желтый свет лампочки под потолком.

— Написали?

Они вздрогнули от неожиданности.

— Сейчас будет!.. Давай сюда карандаш,— сурово сказал Александров своему спутнику.— Я знаю, как надо.

Он придвинул к себе бумажную полоску и, как в телеграмме, без точек и запятых, написал неровными буквами:

«Товарищ Владимир Ильич Ленин к вам от рабочих Нарвской заставы завод Анчар просим уделить несколько времени другого исхода не имеем члены завкома товарищ Александров товарищ Васильев».

— Вот, если так... годится?

Секретарша шевельнула губами, как видно, хотела сказать что-то, но не сказала. Приоткрыв осторожно дверь рядом со своим столом, ушла куда-то. Через минуту она вернулась.

— Вашу записку передала. Сейчас он очень занят. Вы отдохните, обождите,— и села на свое место перед ворохом телеграмм, сжимая ладонями виски.

Они молча смотрели на плотно закрытую дверь. Человек, к которому они шли, не зная, дойдут ли до него, находился здесь, рядом, в нескольких шагах...

— Покурить бы, Петрович,— сказал Васильев. Голос у него осип, он точно выдавливал слова из пересохшего тюбика.

— Да ты что, в себе? Тут разве можно?..

— А мы в коридоре.

Васильев подошел к секретарскому столу:

— Извиняюсь, товарищ Юля! Покурить можно будет выйти?

Она подняла голову с тяжелым узлом белокурых волос и впервые улыбнулась:

— Покурите, покурите!

В коридоре Васильев вытащил из ватника жестяную коробку с надписью: «Монпансье «Ландрин». В ней лежало несколько готовых «козьих ножек». Бережно взяв одну, он стал растерянно шарить по всем карманам.

Часовой в ладной шинели, стоявший у двери в канцелярию, чиркнул спичку, долго тлевшую синим огоньком. Прикурив, отошли подальше и не торопясь, с чувством стали затягиваться по очереди едким, горьким дымом. Отличная вещь: прочищает мозги, разгоняет сон, обманывает пустой желудок.

Та часть коридора, в которой они находились, была перегорожена наскоро сколоченной дощатой стенкой. Точно издали доносился сюда слитный гул, которым были наполнены все этажи огромного здания.

— Петрович, это не нас зовут?

Часовой быстро махал им рукою, показывая на вход в канцелярию. Александров смял в кулаке самокрутку, не ощущая ожога. Они почти побежали по коридору.

В канцелярии, возле стола секретарши, стоял Ленин, держа перед собой узкий листок бумаги. Увидя их, он шагнул навстречу.

— Нарвская? Здравствуйте, товарищи!.. Как же нам побеседовать? — Он задумался на секунду.— Да, так и сделаем! Идемте, там поговорим.— Он пропустил их впереди себя и, когда они замешкались в дверях, добавил полушутливо: — Пожалуйте, пожалуйте без промедления.

В кабинете, как им показалось, было почти темно. Они увидели стол, выдвинутый на середину, пеструю карту на нем, крупные буквы: «План города Санкт-Петербурга». Абажур на лампе был накрыт газетой — так, чтобы лучше освещалась карта. Лица сидевших вокруг стола были затенены, плохо различимы.

— Нарвская застава пришла,— громко сказал Владимир Ильич и, пройдя в угол кабинета, вернулся к столу, неся два стула.— Садитесь, товарищи!.. Садитесь, садитесь,— настойчиво повторил он и еще раз заглянул в узенькую бумажку.— Это ведь вы, анчаровцы, выкупили у временных нашего Полянского-Лебедева?.. Знаете, что они сделали? После июльской демонстрации собрали деньги, внесли залог и вытащили Полянского из «Крестов». Сколько за него заплатили? — Он сощурился в улыбке.— Тысячу?.. Да, пропали денежки. Но зато и Керенский пропал, так что результат стоящий... А к нам с чем пришли?.. Послушаем товарищей? — обратился он к сидящим за столом.— Не возражаете?

— Давайте послушаем,— сказал один из сидящих. Теперь анчаровцы узнали Урицкого.

Васильев поглядел на Александрова, как бы говоря: тебе слово, ты уже вел разговоры с комендантом. И горло у меня, сам видишь...

— Залог-то оправдался, Владимир Ильич,— начал

Александров.— А сейчас опять про деньги. Только другое. Нам бы теперь получить свое, заработанное... Ударились головой об стенку. Стена не каменная, бумажная, а, видать, потверже каменной...

Он остановился, уловив на себе укоризненный взгляд Васильева: «Чего начал байку лепить заместо дела?» Но, точно в ответ на этот безмолвный вопрос, Ленин сказал:

— Вы правы, товарищ! Бумажная стена крепче каменной!

— Мы, Владимир Ильич, не стали бы отнимать ваше дорогое время. По нынешним обстоятельствам наше дело не редкое, не мы одни... Но тут особый поворот. Потому и пришли к вам.

Он видел рядом с собою спокойное лицо Ленина, рука его как бы наготове держала карандаш.

— Последнюю получку видали аккурат четырнадцатого сентября. Дальше, конечно, Октябрь, события, не до получек, ясное дело... А сегодня тридцать первое декабря, конец году, а денег мы с тех пор не видали... А народ у нас, хочу сказать, золотой на Анчаре, Владимир Ильич. Не разбежались кто куда! Затянули животы, а не разбежались. И завком у нас взял силу с самого начала. Не дали закрыть завод. Стали работать на мирную нужду: лемеха для плугов, котелки, сковородки. Есть работа — жгем в трубе рогожку. У нас все живут рядом, от завода поблизости, поглядывают на трубу. Вот и собираются на дымок...

Он опять остановился, поглядел на Владимира Ильича: не лишнее? Нужно это?

Ленин молча кивнул головой: говорите.

— В декабре наладились на две смены. Даем пользу. А получки добиться не можем. Дирекция фокусы строит, как в цирке. Да что там, говорили вам, наверно. Совнарком получше знает ихнюю политику... Выбрали нас с товарищем Васильевым от завкома, чтобы добиваться денег. Тут и началось: не так ведомость составлена, печать недействительная, справка не по форме, нету резолюции от такого-то лица, а эти лица — кто сбежал, кто попрятался... Пошли проверять ихнюю двойную бухгалтерию — куда деваются деньги? Книг этих, отчетов! Ресконтра какая-то, сальдо. Не разобраться. А в народе волнение. Добрались с товарищем

Васильевым до Главного артиллерийского управления. Работы не видно, сидят запершись по комнатам. Мы только что не ночевали там. Все-таки пробили... Сегодняшним утром выдают нам ассигновку на государственный банк — восемьсот тысяч.

— Дали все-таки? — быстро спросил Владимир Ильич.

— Похоже, что забеспокоились, вроде чего-то учуяли. «Идите, говорят, получайте. Только требуется еще одна подпись!» Это ихнего главного заменителя, который заместо главнейшего. «Подождите, говорят, придет с минуты на минуту». Мы с товарищем Васильевым хотели дозвониться до нашего завкома — не позволяют: «Нельзя, кабель военный»... Порешили так, что я жду подписи, а товарищ Васильев на завод — объявить насчет получки, чтобы обе смены оставались на месте. Дожидаюсь, а заменителя нет. Уже и товарищ Васильев обернулся. Доставил с собою санки, чемодан, из оружия кое-что. Все пешим ходом. Мы бы, конечно, взяли директоров автомобиль, да нету горючего ни капли... Дождались в управлении до ихнего обеда, начинают они закрываться и объявляют, что требуемый начальник не придет: только что сообщили, что у него сердечная хватка. События довели. «А мы как же?» — спрашиваем. «А вот придет в свое состояние и подпишет. Ваша ассигновка действительная на весь финансовый год!» — «Позвольте ихнюю фамилию и адресок».— «Да вы что, с луны свалились? Это же военное ведомство! Не даем адресов и фамилий...» Стена! Хоть в кровь разбейся. Стена!.. А народ там собрался, две смены, триста человек без малого...

Ленин поднялся, резко отставил стул, подошел к окну и чуть приоткрыл форточку.

— Говорите, говорите,— обернулся он к замолчавшему Александрову,— мы слушаем.

— Идем вниз по лестнице, догоняет нас пожилой мужчина: «Я здешний полотер и у этого начальника тоже натираю полы. Это генерал, у него собственный дом на Крестовском острове». Дает нам адрес, фамилию. Часа через два добрались до Крестовского. Стоит деревянная хоромина, вся темная, окна занавешенные, но по краешкам просвечивает кое-где — значит, есть живые люди. Жмем звонок — не работает, стучим — не откры-

вают. Стучали долго. Потом товарищ Васильев берет с мостовой булыжник и без передыху по двери. Тут они, видно, не выдержали. Осторожненько этак открывается дверь. Оказывается, это ихний лакей, старикашка. Поднял визг на весь дом. Выходит сам генерал. На больного не похож, но видно, что перепуган. Чтобы его дальше не пугать, мы сразу ассигновку: «Вашей подписи не хватает!..» Видно, ему отлегло, другого ждал. «За этим и пришли исключительно?» Раз — и подмахнул со всякими завитушками, вон как!..

Александров положил на стол новенькую хрусткую бумажку кремового оттенка с двуглавым орлом наверху. Ленин долго поворачивал ее в пальцах, смотрел на свет, точно хотел проникнуть во что-то скрытое в ней.

— А почему она осталась у вас на руках? А деньги вы получили?

— Вот сейчас, Владимир Ильич, и подошли до центра.— Александров говорил как будто спокойно, не торопясь, но на скулах у него загорелись малиновые пятна.— Спешим с товарищем Васильевым что есть силы. Добрались до Екатериновского банка. Все наглухо, висят вот такие замки с засовами. Побежали с Садовой улицы, а там совсем нету ходов. Обратно на канал. А что на сердце? Народ-то уже собрался, ждет. Знаем, что некоторые пришли и с детишками... Опять, как на Крестовском, берет товарищ Васильев булыжник, и я тоже. Работаем в четыре руки. Огонь сыплется с железа. Оказалось, у них, поближе к переулку, такая незаметная дверца. Выходят оттуда с фонариком. Один вроде казака, с винтовкой, другой — чиновный с виду, шуба внакидку. «Вы чего ломитесь, кто вы такие?» — «Мы не ломимся, хотим знать — банк закрыт? Мы законно пришли получать деньги по банковской бумаге, которая на сегодняшнее число...» Этот чиновный давай нам читать молитву: «Слушайте, а вам известно, что сегодня канун Нового года, а завтра Новый год, и установлено не нами, а из веку в век, что это есть дни неприсутственные и никакие операции не производятся. Приходите после праздника, и если деньги будут — получите свое... А засим, говорит, с наступающим вас...»

Александров замолчал. Ленин точно мерил шагами расстояние от окна к столу: туда — обратно, туда — об-

ратно. Были слышны только его шаги и сухое потрескивание газеты, накрывавшей лампу.

— Что же,— сказал Александров,— постояли с товарищем Васильевым и пошли к вам, Владимир Ильич. Как вы поступите, так и будет...

— Как поступлю? — медленно повторил Владимир Ильич.— А как я поступлю?

Он остановился возле карты, провел по ней пальцами в нескольких направлениях.

— Сколько же вы концов сделали сегодня?..— и ответил себе: — Очень много.— Пальцы, лежавшие на карте, сжались в кулак.— Удушить хотят нас. Взять измором!.. Еще бы, покусились на храм золотого тельца...— Он помолчал.— Да, это вам не красновские казаки с пиками. Тут намыленную петлю набрасывают из-за угла, чтобы затянуть поосновательнее.— Кулак сжался еще крепче.— Но эти дни неприсутственные будут у них последние... Мы ошибок Коммуны не повторим. Мы им не оставим золотые подвалы... Возьмем до последней крупинки.— Голос у него звучал резко, угрожающе, глаза сузились, потемнели. Но тут же он как будто спохватился, остановил себя. Потом приоткрыл дверь в приемную, сказал секретарю: — Скажите Борису Борисовичу, чтобы заглянул.

Когда пришел вызванный Лениным человек, анчаровцы почувствовали какую-то смутную тревогу. Одет он был, как все, но было видно, что эта простая одежда не по нему. Гимнастерка сидела, как детская рубашка, задираясь спереди, широкий военный ремень свободно висел на животе.

Может быть, они не совсем и ошибались в своей смутной тревоге, глядя на человека с косматой бородой и полуседой гривою. Многолетний советник у фабрикантов, ученый финансист, но работать пришел сам. Пофыркивал, даже пускался с Лениным в спор о Марксовой прибавочной стоимости, и Владимир Ильич отвечал ему, улыбаясь, что вот он, ученый профессор, написал десяток книг, но сейчас, придя в Смольный, находится на особом факультете и через год будет думать по-другому.

Его сразу, за глаза, а потом и в глаза, прозвали Отец-эконом. Работал он и за бухгалтера, и за счетовода, и за кассира, свирепо срезая заявки и сметы, сы-

павшиеся в Наркомфин, завел подобие отчетности. На него ходили жаловаться Ленину — «бюрократ, крючкотвор»,— но не встречали сочувствия у председателя Совнаркома: «Нам бы у него подзанять такого бюрократизма. Он же не свою, а нашу копейку бережет!..»

— Звали? — спросил Отец-эконом, оглядывая всех из-под очков.

— Скажите, Борис Борисович, какая сейчас наличность в нашей казне?

— Наличность?

В голосе Отца-эконома так и чувствовалось, что солидное слово «наличность» он считает неподходящим для такого понятия, как «советская казна».

— Наличность — семьсот пятьдесят тысяч. Заявок — на сто тринадцать миллионов!

— Да-а-а,— задумчиво сказал Ленин и добавил без всякого перехода: — Тут надо помочь рабочим. Что-то придумать. Особое обстоятельство... и помочь немедля, так сказать не сходя с места...

Делегаты от Нарвской заставы, сидевшие неподвижно на своих стульях, услышали, как пересказывается их дело. Коротко, только суть, как говорила секретарша.

Отец-эконом слушал с бесстрастным лицом.

— Я позволю себе заметить, что завод, о котором здесь говорится, в благоприятнейшем положении рядом со многими советскими министерствами (он говорил еще по-старому: министр, министерство), у коих самые туманные виды на финансовое будущее. Здесь же ассигновка на государственный банк. В конце концов, вопрос идет об одном-двух днях...

Вот оно, чуяло сердце! Становится поперек!

— А вы обратили внимание на характерную поправку, которую внес им банковский чинуша? — спросил его Ленин.— «Если будут деньги — получите». Если будут,— подчеркнул он.— А мы знаем, что означает их «если»!

— И все-таки ассигновка — деньги реальные.

Ленин снова зашагал по облюбованному им пространству — от стола к окну.

Александров несколько раз порывался встать и снова садился.

— Владимир Ильич,— произнес он наконец.— Есть одно соображение. Позвольте.

— Говорите, конечно!

— Если... так сделать,— с натугой заговорил Александров.— Ассигновку нашу оставить Совнаркому... А нам заместо нее — деньгами. Вроде бы одолжить у вас... Мы бы сегодня и выдали получку... А уж Совнаркому-то они не откажут, если Совнарком-то стребует с банка.

Ленин круто остановился:

— Предлагаете так?.. А пожалуй, это самый простой выход... Товарищ Подвойский? Товарищ Лацис?

Подвойский, молчавший все время, медленно произнес: «Пожалуй, что так, Владимир Ильич!» У него было сложное положение. Разве он мог иметь что-либо против? Но было и свое: только на днях имел он тяжелый разговор с Лениным: Владимир Ильич взял от Наркомвоена миллион, чтобы послать на Украину. И Лацис тоже молчал: бюджет только что организованной Чрезвычайной комиссии был равен одной тысяче рублей...

На сегодня была намечена чуть ли не самая короткая повестка за все время: по существу, один вопрос — Учредительное собрание, которое должно было собраться через неделю. Докладывал Урицкий, назначенный комиссаром учредилки. Финансовый вопрос не ставился. И все-таки он напомнил о себе, этот вопрос, фатально возникавший на каждом заседании, совещании.

Деньги были самым главным вопросом. Еще утекали из банков миллионы по невидимым путям, точно ток по проводу, и даже малую толику их приходилось брать нажимом, силой.

Но нельзя было увлекаться таким способом, и председатель Совнаркома сдерживал горячие головы. Он вел эту беспримерную войну с самыми умными и холоднорасчетливыми из саботажников день за днем. Их главари выплатили оклады своим чиновникам за три месяца вперед: «Держитесь. Мы их пересидим». Они выпускали собственные воззвания, высмеивая «большевистские угрозы» о том, что злостных саботажников не будут принимать обратно на службу. Они предлагали просто не обращать внимания на эти «ух, воинственные декреты».

Они не видели, не знали, не чувствовали, не понимали, не хотели понимать, что кольцо вокруг них неотвратимо сжимается, что в словах этих декретов, над кото-

рыми они сейчас глумились, определена их судьба. Они еще сидели на золотых мешках. Миллионам людей приходилось считать копейки, но лишь избранные умели считать миллионы рублей. «Товарищам» это не по зубам...

— Скажите, каков наш финансовый резерв? Мне говорил Менжинский, что у нас имеется резерв на черный день.

— Весьма тощий резерв,— ответил Отец-эконом.— Пятьдесят тысяч!

— Смотрите, до чего кругло получается.— Владимир Ильич загнул пальцы на руке.— Семьсот пятьдесят плюс пятьдесят — как раз восемьсот тысяч.— По голосу его уже чувствовалось, что решение было им принято бесповоротно.

Отец-эконом задвигался на стуле:

— Разрешите задать вопрос? Возможно ли, чтобы правительство какой-либо страны осталось без малейших средств? Не фигурально, а поистине. Так, что хоть шаром покати? Бывает такое правительство?

Ленин взглянул на него, в глазах промелькнула легкая усмешка:

— Должен признать, что такого правительства не было и не бывает. Но мы уже много сделали, чего не бывает, так что прибавим еще одно... И надо с этим поторапливаться, рабочие ждут.

— Таким образом, вы оставляете кабинет без единой копейки?

— Что же делать, как-нибудь перебьемся сутки, а второго января получим!

Отец-эконом искоса, из-под очков, посмотрел на поразительного человека, точно это было существо из какого-то иного мира, и во взгляде его были и изумление и восхищение. Вслух он произнес:

— Необходимо заметить, что подобную операцию правомочна произвести специально созданная комиссия из пяти лиц. Постановить и записать в протокол.

— А мы сейчас и создадим такую комиссию,— живо отозвался Владимир Ильич.— Предлагаю товарищей Подвойского, Урицкого, Лациса, Горбунова и предсовнаркома... Куда, куда вы, товарищи? — повернулся он к анчаровцам, которые поднялись со стульев.— Заседание комиссии не секретное... Товарищ Горбунов, беритесь за перо.

Через несколько минут он протянул Отцу-эконому еще не просохший протокол.

— Возьмите, пожалуйста, на себя все дальнейшее. Очень прошу организовать все побыстрее.— Он взглянул на часы.— Хорошо бы за полчаса, не более.

Погода смягчилась. Падал легкий, мохнатый снег. Поворачивая в сторону Невы, прошел какой-то отряд: бушлаты, шинели, куртки. Но шаг они печатали по-военному четко, и это было приятно, потому что еще не часто приходилось слышать такой дружный, согласный шаг.

Дверь в комендатуру была открыта настежь и подперта кирпичом. Разгружали грузовик, вносили в помещение тюки с солдатским бельем. Тут же хлопотал комендант, в расстегнутом бушлате, форменка наружу. Увидев их, он помахал рукой.

— Знаю, братки. Рад. Вы у нас последние посетители со старого года. С приветом, с наступающим,— он подставил плечо под тюк, который валился с грузовика.— Только что от Ильича звонили, чтобы вас доставить на место... Но скажу вам, братки, что с автомобилями у нас дело швах...

— Да это ничего,— сказал Александров.— Мы с товарищем Васильевым...

— Постой, обожди,— перебил комендант.— Есть у нас один драндулет. Скажу откровенно, держим его только на крайний случай. Но возит... Идите в гараж, там есть паренек Серега Лукин. Он уже знает, ему сказано... А орудия-то свои забыли?.. Карпенко! — крикнул он в раскрытую дверь усачу в кубанке.— Выдай товарищам оставленное вооружение!

Серега Лукин оказался парнем лет восемнадцати, измазанным копотью до черноты,— блестели только зубы и белки глаз. Тусклые угольные лампочки освещали машину странного вида, низкую, приземистую, с боковыми крылатыми плоскостями, похожую на большого черного жука.

— Значит, поехали за Нарвскую заставу,— сказал им Лукин Серега.— Кладите санки, чемодан, сами залазьте. Все поместимся. Я знаю, комендант строит насмешки. Мол, на этой машине еще сам изобретатель ездил. Степансон, что ли? А она крепкая старуха. Доедем, как по паркету!

БОЛЬШИЕ КОСТРЫ

> Выборгский район устроил встречу нового, 1918-го года. Встреча была связана с проводами товарищей — выборгских красногвардейцев — на фронт. Ильич, радостно встреченный рабочими, взошел на трибуну, аудитория зажгла его.
>
> *Н. К. Крупская*

Было три часа ночи, когда Ленин и Крупская собрались уходить. Об этом Владимир Ильич сказал кое-кому из выборжцев.

— Хорошо бы понезаметнее,— попросил он.— А то начнем прощаться и всех спугнем. Пусть веселятся.

Пробрались черным ходом по крутой железной лесенке, где тускло горели угольные лампочки. Вдогонку гремел из зала военный оркестр.

За ночь погода переломилась. Стало теплее, падал густой, липкий снег. У видавшего виды лимузина, на котором ездил председатель Совнаркома, возился шофер. От освещенных окон на снегу лежали квадраты света, но достаточно отойти на десяток шагов — и со всех сторон обступает лиловая мгла.

Только на другом берегу Невы, за Литейным мостом, видно шевелящееся огненно-рыжее пятно — это красногвардейский пост разжег костер.

Приглушенно постукивающий мотор громко затарахтел, шофер залез к себе в кабину.

— Хороший был у вас вечер, товарищи выборжцы,— сказал Владимир Ильич на прощанье.— Даже ухитрились билеты в типографии отпечатать. Чудеса! Жаль, что мы не смогли попасть к началу, пропустили много... Надеюсь, товарищи не будут в обиде за наше исчезновение?

— Не будут, Владимир Ильич! Они же понимают!..

С натужным завыванием машина двинулась по снежным завалам. Переехали мост. На повороте к Шпалерной ярко горел костер. Человек в тулупе, опоясанный солдатским ремнем, с винтовкой на плече, встал во весь рост, поднял руку. Шофер затормозил, приоткрыл стекло, протянул удостоверение.

Пожилой красногвардеец долго рассматривал книжечку в матерчатом переплете, потом обернулся к товарищам, сказал вполголоса:

— Ребята, Ильич!

Все, кто сидел у костра, поднялись. И, точно в ответ на их невысказанное желание, открылась дверца.

— С первым советским Новым годом, товарищи! — звучно произнес Ленин.

— И вас также, Владимир Ильич! — ответил за всех пожилой красногвардеец.— Дай бог и вам...— Он запнулся, крякнул с досады и сконфуженно пробормотал: — Оговорился... по старой привычке...

— Ну, беда не велика,— улыбнулся Ленин.— А вот костер у вас, товарищи, богатый. Кажется, вы отапливаете его железнодорожными шпалами?

— Шпалы эти бракованные, Владимир Ильич,— торопливо ответил пожилой красногвардеец.— Мы хорошее дерево не станем переводить. А эти негодные, они свое отслужили... Вот мы их и жгем понемногу... Сухие, смолистые... аккурат для зимы...

— Да, горят весело! — Ленин несколько секунд смотрел на красно-желтые языки огня — освещение такое, что хоть газету читай,— он расстегнул пальто, достал часы на ремешке: — Мы уже прожили с вами в Новом году три часа двадцать нять минут. Надо спешить... До свиданья, товарищи.

— Надо надеяться, что в России вам не придется так много работать, как здесь, господин Ульянов?!
— Я думаю, господин Каммерер, мне придется работать в Петербурге еще больше...

Разговор с квартирным хозяином перед отъездом из Швейцарии. Март 1917

Только близкие Ленина, товарищи по работе да еще солдаты и красногвардейцы, стоявшие на посту у его кабинета, знали, что непомерно длинный рабочий день председателя Совнаркома неизменно переходит в рабочую ночь.

Эту беспримерную нагрузку Ленин нес как будто легко. Шутя говорил, что в скором времени напишет брошюру «Что такое сон и как с ним бороться». Упорно вырабатывал навыки, которые помогали бы при наименьшем количестве сна сохранять бодрость и работоспособность.

— Если пришлось работать всю ночь, то лучше уж совсем не ложиться,— делился он своим «новым опытом».— Хорошо, если есть такая возможность, вымыться горячей водой, а потом сразу холодной. А на следующую ночь лишнего не пересыпать. Вставать нужно всегда в одно время!

Иногда он оставлял своим домашним такие записки: Марии Ильиничне и Надежде Константиновне.

Прошу меня разбудить не позже 10 часов утра. Сейчас $4^{1}/_{4}$, я спать не могу, вполне здоров. Иначе потеряю зря завтрашний день и останусь без налаженного режима.

— Режим! Без него нельзя! Придерживайтесь режима! — советовал он товарищам.— Иначе расклеимся! Но для этого нужна, конечно, постоянная тренировка, полная мобилизация воли.

Само слово «режим» уже не удовлетворяло Владимира Ильича. И он переделал его в «прижим». Подверглось изменению и слово «устал», как не выражающее истинного положения вещей. Взамен его было предложено «переустал» («Ты опять, наверно, очень переустала?» — спрашивает Владимир Ильич в записке Надежду Константиновну).

Эти новые словечки прочно вошли в обиход Смольного. Их можно было услышать даже на заседаниях, совещаниях. Уж они-то выражали именно то, что было в действительности.

«Прижим», который установил для себя председатель Совнаркома, действует без малейших отклонений. Вернувшись с Выборгской стороны, Ленин сразу прошел к себе в кабинет. Комендант Мальков вспоминал потом, что, придя ночью со сменой караула, он застал Ленина работающим. Владимир Ильич на цыпочках, точно боясь кого-то разбудить, вышел в секретариат и спросил коменданта: «Сколько на ваших часах? Давайте-ка сверим! Э-э-э, батенька, ваши отстают! Я моим доверяю больше. Старые, а еще ни разу не подводили!»

Первое января восемнадцатого года — день рабочий. В десять часов Ленин уже на месте. Секретари уже приготовили для него наркомпродовские сводки, ленты с прямого провода, телеграммы, донесения, письма, газеты за тридцать первое декабря, записи того, что выполнено за истекшие сутки по решениям Совнаркома.

Подвойский сообщает, что в час ночи, согласно предписанию, полученному от предсовнаркома, румынское посольство в полном составе отправлено в Петропавловскую крепость. Декрет о предоставлении независимости Финляндской республике заготовлен на русском и финском языках. Передано Антонову-Овсеенко в Харьков об утверждении его прав по принятию репрессивных мер против контрреволюционных элементов. Проект ответа Центральной раде, оказывающей поддержку атаману Каледину, разослан для ознакомления товарищам, которых поименовал Ленин.

В «свободной прессе» — новогодние отклики. Кадетская «Речь», эсеровское «Дело народа», меньшевистский «Новый луч» начинены мрачными размышлениями об «ушедшем черном годе», даны предсказания о «грядущих событиях», «волнах народного гнева», которые сметут тех, кто «на раскаленной плите Смольного приготовляет будущее России».

А в «Правде», рядом с декретами, рядом с хроникой, которая уже называется «С фронта труда»,— через всю страницу:

«1917 год был самым значительным годом во всей человеческой истории. Быть может, с этого года будут вести потомки новое летосчисление!»

Повестка новогоднего дня, как это было и в ноябре, и в декабре, составится из того, что намечено, назначено, определено заранее. Но это всего лишь ее основа. Она неизбежно пополнится тем, что вторгнется неожиданно, непредвиденно, сегодня, сейчас.

Но есть в каждом дне председателя Совнаркома дела постоянные, неизменные. Это чтение писем и прием посетителей.

К исходу декабря почта, доставляемая ежедневно на имя Ленина, не умещается в трех больших мешках. Однако ни одно письмо не остается непрочитанным. Занимаются этим люди высоко ответственные, и возглавляют их Сергей Иванович Гусев и Мария Ильинична Ульянова.

Все, что есть в почте нужного, значительного, требующего ответа, вмешательства, докладывается Ленину устно и в сводках. Он и сам прочитывает сотни писем в промежутках между заседаниями, совещаниями, деловыми разговорами, забирает их пачками на свой обеденный перерыв. «Ведь это же подлинные человеческие документы,— говорит он.— Я не услышу этого ни в одном докладе!»

Новогодняя почта особенно обильна. Много поздравлений, пожеланий, даже стихов. Но есть послания и злобные, и просто дурацкие. Некоторые из них Владимир Ильич кладет в карман. Они будут оглашены как развлекательное чтение во время короткой «разминки» на заседании Совнаркома...

Ноябрь, декабрь — время все возрастающего паломничества к Ленину. Идут в любое время суток, все хотят его видеть, всем он нужен. И те, кто приходит в Смольный — солдатские делегаты с фронта, рабочие, крестьяне-ходоки, посланные «миром»,— они тоже нужны Ленину. Они всегда «званые гости», хотя и являются без приглашения.

И в новогодний день много посетителей побывало на приеме у Владимира Ильича. Но были среди них и такие, которых «зваными» не назовешь...

Мы должны помочь России найти своего генерала Галиффе.

Из донесения американского посла Дэвида Фрэнсиса Государственному департаменту США. 1917 г. Петроград

С обыкновением дипломатом беседа скрывает мысль. С Лениным она выражает мысль. В этом лежит целый мир различия.

Вильям Т. Гуд, корреспондент «Манчестер Гардиэн»

Сведения о том, что произошло с румынским посольством в ночь на первое января, еще не успели проникнуть в «свободную прессу». Сенсационные заголовки известят об этом завтра, послезавтра... Но в великолепных петроградских особняках, где обосновались иностранные представительства, беспрерывно идут совещания, потом все собираются на Фурштадтской у старейшины дипломатического корпуса мистера Фрэнсиса, посла Америки.

А в первый новогодний день жители Петрограда, оказавшиеся на улицах в эти часы, могут наблюдать удивительный, небывалый кортеж. Одна за другой катят щегольские, блестящие машины разнообразнейших марок и расцветок, с флажками наций Старого и Нового света: львы и орлы с коронами, матрацные полосы в звездах, солнце, похожее на крутой яичный желток, какие-то диковинные звери и птицы, морские якоря и пальмы.

Роскошный кортеж останавливается у подъезда Смольного. По ступенькам подымаются люди, как будто сошедшие с плакатов, изображающих «международный капитал». Значит, художники не выдумывают этих господ из головы, вот они! Здесь можно увидеть котелки, лоснящиеся цилиндры, даже монокли, лакированную обувь, прикрытую гетрами, подстриженные на заграничный манер усики, бачки, эспаньолки.

Рядом с этими гладкими, холеными существами както особенно резко видна бледность, худоба тех, кто проходит мимо по лестницам и коридорам. Да так оно и есть: слишком пригляделись тут все друг к другу, некогда разбираться, кто как выглядит...

Высокие гости впервые посещают Смольный, хотя слово это постоянно встречается в их шифрованных донесениях за рубеж рядом с фамилией «Ленин». Их

правительства наотрез отказались признать большевиков, поддерживать с ними какие бы то ни было отношения, но господа дипломаты остались в своих особняках.

В этом дипломатическом подполье — может быть, самом глубоком, самом законспирированном, самом осведомленном из всех, какие гнездятся в огромном, холодном, темном Петрограде,— наблюдают, изучают, отмечают каждый шаг новой власти, берут на учет малейший промах, ищут связей с врагами потенциальными и уже определившимися. И не только отмечают и изучают, не только составляют прогнозы и рекомендации для своих правительств, но и стараются воздействовать на события всеми возможными средствами.

Так и существует этот особый, закрытый мир, как будто совсем в стороне, как будто не встречаясь ни на каких путях с новыми хозяевами бывшей Российской империи.

Но вот чрезвычайное обстоятельство — небывалое, недопустимое: арестован румынский посланник. Невозможно представить себе элегантного господина Диаманди в этом каменном мешке, в этой наводящей ужас Петропавловской крепости! Отстраниться, смолчать — нельзя! «Товарищи» сунулись в тот мир, куда им не должно быть доступа.

Придется напомнить, что под боком у них есть сила мирового значения, которая этого не позволит.

И вот они в кабинете, который невозможно себе вообразить. Конторская комната абсолютно среднего учреждения. Обстановка более чем неподходящая для дипломатического приема, но мистер Фрэнсис соблюдает полагающийся церемониал.

Начинается представление послов, посланников, чрезвычайных и полномочных министров, поверенных в делах. Старейшина знает назубок все звания, титулы — тут имеются графы, бароны, даже маркиз,— без запинки произносит длинные, заковыристые фамилии, особенно когда дело доходит до представителей Латинской Америки, Японии, Сиама. Он произносит их громко, отчетливо, со значительной паузой, как бы подчеркивая: вы видите, вы понимаете, что перед вами чуть ли не вся планета?

Мистеру Фрэнсису и другим доподлинно известно, что Ленин свободно разговаривает по-английски, но сейчас рядом с ним переводчик. Любому дипломату понятно, что означает этот, казалось бы, небольшой факт: я буду разговаривать с вами на языке моей страны, так же как вы разговариваете со мною на своем. Здесь нет неравных сторон.

После окончания церемонии мистер Фрэнсис просит перевести, что сейчас будет зачитан меморандум, единодушно утвержденный и подписанный всеми членами дипломатического корпуса. В руках у него появляется длинный бумажный свиток с крупным, каллиграфически написанным текстом.

«Дипломат есть особа неприкосновенная,— гласит первая фраза меморандума.— Это незыблемый принцип в отношениях между государствами. Арест румынского посланника господина Диаманди вместе со всем составом его посольства является вопиющим, беспрецедентным нарушением этого принципа, вызовом, который брошен всему цивилизованному миру!..— В голосе мистера Фрэнсиса начинает звучать металл, он делает шаг вперед.— Дипломатический корпус предъявляет категорическое требование о незамедлительном освобождении арестованных и указывает советским властям на тягчайшие последствия, которые могут произойти в случае отказа выполнить настоящее требование, выраженное уполномоченными на то представителями двадцати держав мира».

Закончив чтение, мистер Фрэнсис ищет глазами, кому передать документ. Для этого на приеме должны присутствовать определенные лица, но...

Он чуть заметно пожимает плечами — с кого тут спрашивать? — и протягивает бумагу переводчику.

Теперь господа дипломаты ждут, что ответит председатель «так называемого Советского правительства». Лицо его непроницаемо, голос звучит ровно, он спокойно пережидает, когда произнесенное им будет переведено, и не задумываясь говорит дальше.

Ошибка господ дипломатов, разъясняет он, состоит в том, что они рассматривают арест румынского посольства изолированно от событий, которые вызвали его. Между тем этот арест не является произвольным, ничем не обоснованным актом. Нет сомнения, что дипло-

матическому корпусу известно — первым шагом Советского правительства было обращение ко всем воюющим державам — как союзным России, так и враждебным ей — с призывом немедленно открыть мирные переговоры. Царская армия демобилизована, военные действия прекращены на всех фронтах — в том числе и на румынском.

Тем не менее румынское командование разоружило и держит в плену русских солдат, стремящихся вернуться на родину. Это равносильно возобновлению военных действий без объявления войны, то есть акции, противоречащей тем самым нормам, на которые указывают господа дипломаты. Таким образом, упомянутый выше арест является ответной мерой Советского правительства и разговоры о дипломатической неприкосновенности выглядят при данных обстоятельствах неуместно. Если румынское командование проявит должное благоразумие и добрую волю, то этим самым будет устранена необходимость содержания под стражей посольства Румынии.

Всё? Нет, оказывается, еще не всё! Председатель Совнаркома выходит из-за стола и произносит фразу, исключающую дальнейший разговор. Это, очевидно, и есть та большевистская «дипломатия без дипломатии», как выразился он в одной из своих речей.

— Для социалиста,— говорит он,— жизнь тысяч солдат дороже спокойствия одного дипломата.

Эти слова вызывают молчание, которое, как на сцене, кажется невыносимо длинным. Вот она, «загадка Советов»! Пожалуй, таких загадок история еще не загадывала. Откуда эта немыслимая дерзость у власти, существующей «без году неделю», по выражению, которое принято у русских? У власти, против которой оба гигантских лагеря — и германская коалиция, и Антанта!

У Советов разваливается транспорт, тысячи чиновников всех рангов не хотят с ними работать, устраивают «пробки» на железных дорогах, запутывают дела в учреждениях. Заговоры вздуваются всюду гнилыми нарывами. Тут действует целая «гамма» — монархисты, кадеты, эсеры, меньшевики, анархисты. Враги пролезли во все звенья скрипучего советского механизма — кому лучше знать об этом, как не мистеру Фрэнсису, или

мосье Нулансу, или сэру Джорджу Бьюкенену? А Ленин заявил недавно, что социалистический младенец растет, крепнет, набирается сил!

Приходится невольно признать, что этот недавний эмигрант, ставший главой огромного государства, держится с поражающим спокойствием и твердостью в этой небывало запутанной и сложной политической обстановке. Непостижимо!

— Из слов представителя Смольного можно понять, что он не считает нужным вести какие-либо переговоры,— голос у мистера Фрэнсиса изменил тембр, заметно, что он утратил полагающееся ему дипломатическое спокойствие.

— Здесь нет предмета для переговоров! Речь идет о благоразумии!

Господа дипломаты подымаются с неудобных, твердых стульев. Вероятно, они испытывают сейчас немалое облегчение.

— В таком случае,— отчеканивает мистер Фрэнсис,— имею честь...

Милюковское правительство отказалось дать мне разрешение на въезд в Петроград. Товарищи, с которыми я должен был расстаться, добились своего. На прощанье Ленин сказал мне, что русская революция находится в самом начале и что мы обязательно увидимся в России.

Фриц Платтен

Для того чтобы разговаривать с ним, многим приходилось задирать голову. Он возвышался над любою толпой. Друзья и знакомые называли его «самый высокий человек города Цюриха».

И сейчас, с высоты своего знаменитого роста, Фриц Платтен первым увидел людей, которые переходили широкое, занесенное снегом, железнодорожное полотно, направляясь к вагону, стоявшему у пакгауза.

Сначала не поверилось — возможно ли? Но это было так — Ленин, сестра его Мария Ильинична пришли повидаться с большевиками-эмигрантами, вернувшимися на родину в новогодний день. И привез их все тот же

неутомимый Фриц Платтен, «доверенное лицо» Владимира Ильича во всем, что связано было с его проездом через Германию в знаменитом «пломбированном вагоне».

— Вот мы и встретились, геноссе Платтен! — говорит Ленин, пожимая огромную лапу швейцарца.— Рад видеть вас, дружище! Кажется, теперь уже все наши вернулись!..

Час назад, прочитав телефонограмму, переданную с Николаевского вокзала, Владимир Ильич попросил соединить его с Наркомсобесом и позвать к телефону товарищ Коллонтай. Казалось бы, не очень сложное поручение?

Но не всегда удавалось его выполнить. Саботажники и здесь прикладывали руку. Вдруг обрывалась связь, вдруг менялись номера абонентов, и сквозь метельный посвист и завыванье в трубке кто-то орал: «Какого еще наркома? Нет таких! Это бывший ресторан Кюба!»

Сегодня на телефонной линии новогодние «сюрпризы» особенно часты. На лице у секретарши настоящее отчаяние.

— Не расстраивайтесь так, это же не ваша вина,— говорит ей терпеливо ожидающий Владимир Ильич.

Теперь он решил позвонить с вокзала. Вместе с ним пошли Фриц Платтен и старый его товарищ доктор Багоцкий.

Шагая с ним рядом, разговаривая, отвечая на вопросы, они все поглядывают на него: тот же Владимир Ильич! И живость, и голос, и смех. И даже пальто то же самое...

А снег все падает и падает мягкими мохнатыми хлопьями.

Белые пласты аршинной толщины лежат на крышах привокзальных строений, слипшиеся гроздья висят на телеграфных проводах.

— Вероятно, температура упадет до нуля,— озабоченно говорит Ленин.— Нет уж, пусть лучше морозвоевода обходит владенья свои. Тяжело с ним ладить, но эти оттепели и снегопады могут обойтись нам дорого!

На платформе тесно, сотни людей с мешками, узлами, котомками ожидают поезда. Синий махорочный дым слоями висит над толпой. Всюду пахнет карболкой.

Ленин проходит быстрой, упругой походкой в здание вокзала, видимо довольный тем, что его никто не узнаёт.

Отыскали дверь, где рядом с облупившейся эмалированной дощечкой приколот лист бумаги «Исполком Никол. жел. дор.». Дежурный — в железнодорожной шинели, папахе с молоточками, с кобурой на поясе — сидел за столом перед грудой каких-то квитанций.

Ленин достал из кармана книжечку:

— Товарищ, нам нужно позвонить.

Дежурный поглядел на него, встал:

— Товарищ... Ленин?

— Да, да,— скороговоркой ответил Ленин.— Как тут у вас обращаются с этим аппаратом?

Платтен и Багоцкий жадно разглядывают обстановку комнаты. Это первое советское учреждение, которое они видят.

Растянутое через всю стену красное полотнище с неровными буквами: «Мы наш, мы новый мир построим».

Портрет Маркса, украшенный еловыми ветками. В углу — сложенные в козлы винтовки...

— Смотрите, уже ответили! Превосходно у вас работает связь! — говорит Владимир Ильич дежурному, не отрываясь от трубки.— И всегда так?.. Завтра пошлем матросов на Центральную станцию. Они там повлияют!

Через минуту он уже разговаривает с Коллонтай, улыбаясь, помахивая рукой, точно она находится рядом:

— Помните большого Фрица? Багоцкого? Они здесь, кланяются вам... Так надеюсь на вас, Александра Михайловна! Помогите товарищам побыстрее устроиться на первых порах... Как я здесь? Да мимоездом! Еду с Марией Ильиничной на митинг в Михайловский манеж!

Разговор по телефону окончен.

Платтен почти умоляюще обращается к Владимиру Ильичу:

— Если можно, я с вами!

— Как? Без отдыха? Прямо из вагона на митинг? Впрочем, я вас понимаю... Тогда идемте... А по дороге расскажете мне, как поживает нынче старушка Европа!

ПОСВЯЩАЕТСЯ ТОВАРИЩУ
УЛЬЯНОВУ-ЛЕНИНУ

Привет тебе, иаш вождь иародиый,
Защитиик права и идей,
Кристально чистый, благородиый,
Гроза богатых и царей.
Семья трудящихся, голодиых
В твоих рядах, в борьбе — твой щит,
Наш легиои сынов иародиых
На страже, верит, победит!

Стихотворение солдата Б. Ганцева, прочитанное им на митинге в б. Михайловском манеже 1 января 1918 года

Кажется, что можно уследить взглядом, как опускается над городом пелена белесого тумана. Ныряя в снежных ухабах, урча мотором, бывалый «Тюрка-Мери» везет своих пассажиров по странно притихшим, призрачным улицам с заколоченными витринами, запертыми воротами, черными окнами. Почти не встречаются прохожие, но шофер беспокойно вертится на своем сиденье, оглядывается по сторонам, часто нажимает грушу клаксона.

— Не волнуйтесь, товарищ Гороховик,— говорит Ленин, наклоняясь к нему.— Поезжайте спокойно...

Невиданное, фантастическое зрелище открывается глазам Платтена, когда он входит с Лениным и Марией Ильиничной в необозримо огромное помещение манежа. Такого не увидишь нигде в мире. В центре, под потолком, единственная лампа, бросающая свет на двухбашенный броневик. Это трибуна. Десятки смолистых факелов горят багровым пламенем. Они — главное освещение манежа.

От стен, промерзших насквозь, тянет пронзительным холодом. И те, кто собрался здесь, согреваются как умеют: прыгают, борются, перетягивают «кто кого».

Точно морской гул катится над головами, достигая самых отдаленных уголков манежа:

— Ленин!

Люди расступаются, образуя узкий проход. Ленин подходит к броневику, и, наверно, двадцать пар рук тянутся к нему, чтобы помочь. Он опирается на чье-то плечо, легко всходит на бронированную площадку.

— Все-таки я уже имею некоторый опыт в обращении с броневиками,— шутит он.

Держа в руке шапку-ушанку, он пережидает, пока утихнет шквал, поднятый сотнями крепких ладоней. Никто не в силах остановить эту бурю, пока она сама себя не исчерпает. И вот, как-то сразу, становится тихо. Только потрескивают факелы в этой напряженной, натянутой тишине и необыкновенно отчетливо звучит хрипловатый от утомления голос...

Мы, живущие сегодня, с неизъяснимым волнением вглядываемся в мелькающие, полустертые, точно присыпанные искрами, старые кадры. Мимо нас проходят люди с винтовками — молодые и старые, безбородые и бородатые — в сапогах, обмотках, лаптях с онучами, в истрепанных шинелишках. Вот они бегут в атаку, ворочают бревна на субботниках, поют песни. У всех какое-то общее выражение, они чем-то похожи друг на друга. Это отсвет великого времени лежит на их лицах. Не все они умеют даже расписаться и ставят крестик вместо фамилии, не все могут произнести без запинки недавно пришедшие к ним слова «империализм», «милитаризм», но это они первыми нанесли удар опившемуся кровью хищнику...

И вот частица этой гневной силы, которая уже вскоре будет называться Красной Армией, один из первых ее отрядов, слушает напутствие Ленина перед отправкой на фронт...

Туман на улицах стал плотным, почти осязаемым — кажется, можно взять его рукою и скатать, точно снежок.

Тарас Гороховик садится за руль. До Смольного недалеко, дорога известная, но этот проклятый туман! В двух шагах не разобрать, где стена, где человек, где трамвайный столб.

Автомобиль продвигается неровными толчками, точно ощупывая забитую снегом мостовую, подъезжает к Симеоновскому мосту.

— До сих пор звучит во мне этот «Интернационал»,— говорит Платтен сидящему рядом Ленину.— Как они пели! А лица какие!

— А вы обратили внимание, геноссе Платтен, что в Европе его поют иначе,— отзывается Ленин.— Там поют: «Это будет последний и решительный бой», а у нас народ внес свою поправку! У нас поют: «Это есть наш

последний и решительный бой». Да, для нас решительный бой уже есть, уже наступил, но последний ли он?

Где-то близко, один за другим, раздаются сухие, короткие хлопки.

— Стреляют! — громко говорит Мария Ильинична.

— Нет, что-то другое! По-моему...

Владимир Ильич не успевает закончить фразу. Платтен пригибает ему голову, наваливается сверху. Автомобиль как будто становится на дыбы, подпрыгивает, мчится через мост, сворачивает в боковую улицу и опять мчится, не сбавляя скорости, пока не налетает на снежный бугор. Гороховик медленно оборачивается:

— Все живы?

— А что? Действительно стреляли? — спрашивает Ленин.

— У меня стекло брызнуло перед глазами! — Шофер не может отдышаться, точно бежал все это расстояние от манежа.— Боялся оглянуться. Думал, что и в живых никого нет! Попади они в шину — не уехали бы!

Даже в туманном полусвете видна меловая бледность на лице Марии Ильиничны. Рука, втиснутая в сумочку, сжимает маленький дамский браунинг.

— Они стреляли в тебя! — Голос у нее дрожит, как в ознобе.

— Маняша, Маняша, спокойствие! — Владимир Ильич кладет ладонь на ее руку.— Если даже и стреляли, то все, как видишь, обошлось благополучно. А как себя чувствует геноссе Платтен? Ну, знаете ли, и ручища у вас! Мне показалось, что вы хотите запихнуть меня под сиденье!

Но Платтен, так легко и охотно откликающийся на шутку, тоже бледен и еще не пришел в себя.

— Покушались на вашу жизнь... на вашу жизнь,— повторяет он.— Это ужасно, ужасно...

Знакомая площадь перед Смольным. Горят большие костры. Кажется, они так и не потухали с тех осенних дней.

Автомобиль круто останавливается у ступеней подъезда. Длинный Платтен с трудом вылезает из кабины вслед за Лениным, отходит в сторону.

— Что это у вас? — спрашивает его Мария Ильинична, и снова лицо ее становится белым.— Что с вашей рукой? Покажите, покажите!

Платтен разматывает платок. Содрана кожа с пальцев, запеклась кровь. Этими пальцами он наклонил голову Ленина.

Владимир Ильич быстро взглянул на сестру:

— Прошу тебя, Маняша, перестань волноваться. Мы все живы, здоровы. Наш друг, кажется, немного пострадал. Сейчас мы ему окажем первую помощь. Проводи его, пожалуйста, до медпункта, а потом сразу к Наде. Если она в Наркомпросе — дозвонись обязательно. Сейчас же потекут всяческие слухи, преувеличения, надо предупредить... Скажи, чтобы не тревожилась...

Он провожает взглядом Марию Ильиничну и Платтена, потом оборачивается к собравшимся у автомобиля:

— Так что все-таки произошло?

Комендант и шофер осматривают, ощупывают машину со всех сторон. Стекло в кабине шофера зияет отверстием, от него разбегаются трещины. Кузов пробит навылет.

Красногвардейцы, солдаты из комендатуры стоят в молчаливом оцепенении.

— Я думаю, товарищи, пока достаточно,— говорит Ленин.— Давайте заниматься своими делами... Тут все люди военные,— добавляет он,— нюхали пороху... Если солдат будет оглядываться на каждую пулю, которая просвистела рядом, ему некогда будет воевать...

Времени было два часа ночи. Только что возвратился из Смольного, где встречался с Лениным. Он не казался взволнованным после покушения, которому недавно подвергся.

Адам Эгедэ-Ниссен, норвежский коммунист.
(Из книги «Жизнь в борьбе»)

Петросовет выражает горячую симпатию вождю социалистической революции тов. В. И. Ленину. Мы заявляем всем врагам: рабочие и крестьяне сумеют охранить неприкосновенность своих товарищей и лучших борцов за социализм! ...Вы предупреждены, господа вожди контрреволюции!

3 января 1918 г.

В приемной ожидает председателя Совнаркома финляндская делегация. Еще никто ничего не знает о том,

что произошло. Когда Ленин входит в комнату, почтенные господа в расстегнутых шубах медленно, с достоинством приподымаются.

Декрет о предоставлении независимости Финляндской республике уже наготове. Остается только вручить его. Почтенные господа, явившиеся за ним,— финское издание русских меньшевиков. Они составили «гельсингфорсское правительство», уже собирают вокруг себя «истинных патриотов», вооружают особые отряды, которые пригодятся вскоре небезызвестному барону Маннергейму.

Но Советская республика выполняет свои обещания, и председатель Совнаркома, не растягивая церемонии, передает господину Свинхувуду декрет, под которым стоит дата «31 декабря 1917 года».

Несколько соответствующих случаю фраз, холодновежливое рукопожатие — и финляндские делегаты раскланиваются.

Теперь можно забежать домой, перекусить, выпить стакан чаю, поговорить с сестрой. Надежда Константиновна еще не вернулась из Наркомпроса, но удалось дозвониться — так что волноваться она не будет. Платтену сделали перевязку, его устроил у себя комендант.

Ровно в одиннадцать должно начаться вечернее, а правильнее говоря, ночное заседание Совнаркома. Немало причин для опоздания может возникнуть нынче, но Владимир Ильич с каждым днем все туже «подкручивает» тех, кто обязан участвовать в заседаниях. То, что сходило с рук еще недавно, сейчас не принимается во внимание.

За несколько дней до Нового года он проводит в Совнаркоме решение о штрафах, которые налагаются на опоздавших.

Получасовое опоздание — пять рублей, свыше — десять. От штрафа освобождаются те, кто заранее сообщил секретарям о возможной задержке и о причинах ее.

Сегодняшнее заседание непохоже на другие. В Смольном уже знают о машине, пробитой пулями, о том, что Ленин чудом остался жив. Никто не сомневается, что покушение организовали правые эсеры. Они уже давно угрожают, в городе открыто говорят, что в день открытия Учредительного собрания они готовят вооруженное выступление.

Приходят товарищи, наркомы, члены Центрального Комитета — взволнованные, потрясенные.

— Что ж, путь вполне закономерный,— нехотя говорит Ленин.— Сначала наемные клеветники, прихлебатели буржуазии, а теперь — убийцы из-за угла.

Все, работающие с Лениным, знают особую его черту — он не любит задерживаться на том, что уже прошло. И сейчас окружающим видно, что для себя тему о покушении он считает исчерпанной.

Остается несколько минут до начала заседания — тех самых минут, которые, по выражению Владимира Ильича, отпускаются «un quart d'heure de grasse» («на сбор опоздавших»).

Предсовнаркома занимает свое место за столом, достает из жилетного кармана часы-хронометр, кладет их на левую ладонь и пристегивает ремешком — так они всегда перед глазами. Всем уже хорошо знаком этот жест, и, выступая, они с опаскою поглядывают на ремешок. Длинное словоговорение здесь не допускается. Иногда, воспользовавшись паузой в выступлении оратора, Владимир Ильич вежливо замечает: «Уважаемый товарищ, не надо нас агитировать —мы все за Советскую власть!» или: «Я не поклонник Шопенгауэра, но один раз он верно сказал: «Кто ясно мыслит — ясно излагает», а у нас еще, наверно, тридцать или сорок нерешенных вопросов на сегодня!»

Первым на заседании берет слово Урицкий — бледный, с красными от бессонницы веками.

— Миндальничали с ними... отпускали на честное слово... разводили дискуссии,— говорит он, нервно протирая пенсне.— Хватит... Надо им объяснить, что их ждет... Принять обращение к народу...

— Насчет миндальничанья согласен с вами, товарищ Урицкий! — отвечает Ленин.— Я говорил об этом давно — когда мы отпустили Краснова... Надо полагать, всем этим займется наша новая Чрезвычайная Комиссия, Феликс Эдмундович, вы, товарищ Лацис... Обращение, я думаю, в компетенции ВЦИКа, Петросовета, а у нас иная повестка дня,— он показывает бумажный лист, исписанный во всех направлениях.

Повестка, как всегда, огромная, пестрая — от переговоров с персидским правительством о выводе воинских

частей старой царской армии до принятия мер по сохранению питерского Ботанического сада.

О председателе Совнаркома говорят, что он одновременно ведет по крайней мере десять заседаний. Он слушает все и всех, тут же прочитывает бумаги, телеграммы, которые кладут перед ним секретари, пишет записки, иногда ловко перебрасывая их через стол тем, кому они предназначены.

Случается, выступающий замолкает, видя, что председатель занят, отвлечен, но Ленин тотчас же говорит ему: «Продолжайте, продолжайте, я вас слушаю!»

И как ни привычны сидящие здесь к этому способу вести заседание, все каждый раз изумлены, что Владимир Ильич действительно ничего не упустил.

Позже, когда болезнь свалит его, врачи объяснят, какой вред нанес он себе этим непомерным перенапряжением...

Осторожно обойдя стол, Горбунов передает Ленину длинную полоску бумаги. Владимир Ильич почти мгновенно прочитывает ее, в глазах, в уголках губ — ироническая усмешка. Он как бы хочет сказать: «Ну вот, давно бы так».

Это телефонограмма, переданная мистером Фрэнсисом от имени дипломатического корпуса. Так и чувствуется, с какой натугой подбиралось здесь каждое слово, какое старание приложено было, чтобы сохранить независимый и гордый вид. Но при всем том в телефонограмме сообщается, что румынскому командованию будет предложено устранить все препятствия к возвращению русских воинских частей на советскую территорию.

Владимир Ильич громко зачитывает ответ мистера Фрэнсиса.

— Что и требовалось доказать,— заключает он.— Выпустим господина Диаманди и иже с ним?.. Принято единогласно!

И, слушая очередного оратора, он тут же пишет на клочке бумаги распоряжение коменданту Петропавловской крепости: «Освободить из-под стражи посланника Диаманди и всех прочих чинов румынского посольства...»

...Начало второго. У многих усталые лица, курильщики страдают. Некоторые уже выходили затянуться

разок-другой под неодобрительным прищуром председателя.

Объявлен перерыв на десять минут. Курильщики устремляются в коридор. Ленин идет в приемную. Здесь у него короткая встреча с норвежским товарищем. Владимир Ильич извиняется за позднее время, за невозможность побеседовать более обстоятельно, но все же успевает ответить на главные вопросы.

Десять минут истекло, заседание продолжается. В разгаре прений входит Александра Михайловна Коллонтай со стулом в руке, пристраивается в углу. Опоздание чрезвычайное, сверх всяких норм. Ее уже встретил вопрошающе-укоризненный взгляд председательствующего. Она торопливо набрасывает несколько строчек, просит передать записку: «Все приехавшие товарищи устроены, пришлось добывать продукты и транспорт. Это заняло значительно больше времени, чем предполагалось. Такова причина опоздания».

Владимир Ильич одним глазом прочитывает записку — левая рука его перелистывает в это время какую-то толстую кожаную тетрадь, правая делает пометки карандашом. Он кивает Александре Михайловне, в глазах — мимолетное одобрение: хорошо, что выполнили! Причину опоздания считаю уважительной!

ТАКОЕ ВРЕМЯ

О поезде, который вез Володю Зинина в Москву, нельзя было сказать, что он мчится вдаль, жадно глотая версты и ритмично постукивая колесами, как еще недавно любили писать авторы повестей и рассказов для дорожного чтения.

Он не мчался, а двигался с раздирающим душу скрежетом, часто замедляя ход, точно боясь оступиться, а мимо ползли и ползли голые осенние поля, и Володе казалось иногда, что вагоны, как потерянные, блуждают в этих бесконечных полях и неизвестно, где и когда они остановятся.

Но так лишь казалось в неверном, тряском теплушечном полусне. Москва неотрывно следила за продвижением тяжело нагруженного состава со станцией отправления Вятка — Котельнич, слала нетерпеливо-тревожные запросы, требовала сообщить о причинах долгих стоянок.

Обо всем, что касалось вятского маршрута, было известно и председателю Совнаркома по сводкам Моспродсовета, которые ему приносили вместе с телеграммами с фронтов, и это облегчило Володе Зинину первые минуты разговора с ним.

Так же, как и сотням других людей, входивших до него в этот кабинет, Володе трудно было сохранять спокойствие. Но человек, вставший ему навстречу из-за стола, видимо, и мысли не допускал, что кто-то может испытывать стеснение в его присутствии.

— Устраивайтесь поудобнее,— говорил он, придвигая к столу поместительное кожаное кресло.— Рассказывайте, как добирались? С приключениями или без оных? Как там наш красный купец?

«Красным купцом» Ленин называл Сергея Васильевича Малышева, уполномоченного наркомпрода республики,— по его поручению Володя Зинин и приехал в Москву. «В докладную записку я всего не уместил,— сказал он Володе в напутствие,— но будут, конечно, вопросы. Ответишь на словах... Да твой тезка сам вызнает у тебя все, что ему нужно. Ты и не заметишь...»

Все это говорилось так, будто Володя Зинин уже не однажды выполнял подобные задания и бывать в Кремле и беседовать с Лениным было для него вполне испытанным делом.

Володя смятенно молчал. И тут Малышев хоть и в небольшой степени, но постиг все же душевное состояние своего посланца и добавил ободряюще: «Ты, ейбогу, не волнуйся! Все будет хорошо... Вот познакомишься с Владимиром Ильичем — сам узнаешь!»

Познакомишься с Владимиром Ильичем! До чего просто и легко звучало это у «красного купца»!

Но все так и получилось, как было им сказано. Отвечая на быстрые, «вызнающие» вопросы — с них и начался разговор,— Володя ни единой секунды не чувствовал себя неким безымянным, безликим исполнителем данного ему поручения. Все, что он встретил здесь — начиная от рукопожатия,— относилось именно к нему, Володе Зинину.

— Ну, что же, вятские дела вы знаете, как говорится, назубок,— одобрительно заметил Владимир Ильич, покончив с расспросами.— Теперь посмотрим, что пишет товарищ Малышев...

Докладная записка Малышева лежала в папке, которую Володя не выпускал из рук всю дорогу. Папка была старорежимная, из синего коленкора с тиснеными буквами «Волжско-Камское речное пароходство. Охотин с сыновьями». Володя протянул ее через стол и тут

же спохватился — вышло не очень ладно. Надо было вынуть бумаги, а не подавать их в папке.

Но Владимир Ильич, похоже, не обратил никакого внимания на эту неловкость. Аккуратно развязав тесемки, он положил перед собой вынутые листы, придвинул лампу с зеленым абажуром, взял остро отточенный карандаш.

То, что читал сейчас председатель Совнаркома, составлялось в спешке. Малышев готовился ехать в Москву самолично, но помешали неожиданные обстоятельства, и он решил послать с докладной своего «ученого секретаря», как частенько именовался у него Володя Зинин.

За докладную Малышев взялся в день отправки хлебного маршрута из Котельнича. Времени было в обрез, а написать требовалось о многом, и он затворился в своей штаб-квартире — рубленой избе, поставленной на палубе головной баржи. Здесь помещался его «кабинет» и «Управление ПТОП», что в развернутом виде означало «Передвижные товаро-обменные пункты».

Принося сюда нужные для докладной цифры и справки, Володя все время заставал своего начальника в том состоянии, которое называют муками творчества.

— Рука у меня отвыкла, что ли? — хмуро говорил Малышев, разглядывая свои пальцы, измазанные чернилами, как у школьника.— И перо будто плохое, и бумага ни к черту, и лампа коптит... А главное — залез в словесные дебри. А Владимир Ильич страсть не любит, когда много написано. Помню, как он выговаривал одному редактору, да еще столичному, московскому, за его передовицы: «Небось когда сочиняете собственную телеграмму, то взвешиваете каждое словечко, ибо денег стоит. А читательское время, затраченное на ваши многописания,— это что, по-вашему? Вы его тоже взвешивайте, оно дороже денег!» Вот и прикинь, каково это, когда читателем у тебя Ленин...

Докладная была закончена уже перед самым отходом маршрутного состава. Перечитав ее в последний раз, Малышев поуспокоился: переписанная великолепным почерком «ученого секретаря», она заняла всего шесть листов обыкновенной писчей бумаги. И вот теперь эти листы прибыли в Москву и легли на письменный стол предсовнаркома.

Он разложил их перед собой в каком-то нужном ему

порядке, точно хотел видеть их все разом. Иногда он возвращался к прочитанному, подчеркивал некоторые фразы.

— ПТОП! — сказал он вдруг и обвел острым грифелем отмеченное им слово.— Еще один уродец на нашу голову. ПТОП! Вот так придумано!

— А крестьяне им не пользуются! — с готовностью сказал Володя. И ему очень не нравилось это «ПТОП».— Они говорят «баржелавка».

— Баржелавка! — с явным удовольствием повторил Владимир Ильич.— Коротко, ясно и по существу дела!..

Среди множества сокращенных наименований, имевших хождение в молодой Советской республике, ПТОП было совсем еще новеньким. Возникло оно не от хорошей жизни. Его породила великая нужда, жестокий голод, охвативший те губернии, которые называли потребляющими, из него выглядывала хлебная осьмушка с торчащими сухими усиками овса.

И были другие губернии — Вятская, например; к ней прилагалось сытое, круглое слово «хлебородная». Вот туда и повез уполномоченный Наркомпрода республики все, что могли наскрести у себя «потребляющие», все, что могло быть годным для обмена на хлеб.

Это был опыт, проба, тот самый товарный подход к мелкому и среднему производителю, о котором говорил Ленин. Этому производителю по душе и по возможности пришлись твердые государственные цены на городские товары, а у спекулянтов и мешочников они заметно пошатнули оборот.

По Каме и Волге поплыли караваны баржелавок, принимая в трюмы полученное на обмен зерно и перегружая его в маршрутные поезда на железнодорожных узлах.

И когда такой маршрут со станцией прибытия «Петроград» или «Москва» тяжело трогался с места, это было праздником, торжеством для малышевцев. Наверно, такое чувство испытывают строители корабля, спуская его на воду.

Дело с обменными хлебозаготовками становилось весомым подспорьем в тяжкую для республики годину. Оно могло расширяться, возрастать, но для этого требовался товар, больше товара, и почти каждая фраза в докладной записке Малышева начиналась словом

«надо бы». Это «бы» хоть немного смягчало настойчивую требовательность, звучавшую в слове «надо».

Надо бы побольше «крестьянского товара» — мануфактуры, гвоздей, спичек, подков, колесной мази; немалый спрос и на «предметы роскоши» — гармоники, самовары, городскую посуду, зеркала, гребенки, фабричные нитки.

Надо бы воздействовать на комиссариат путей сообщения, чтобы они там побыстрее проталкивали хлебные составы, чтобы не задерживали с порожняком.

Надо бы поосновательнее вооружить ПТОП, иметь на баржах не только винтовки, но и пулеметы, ручные гранаты, тол («Белочехи, учредиловцы, кулацкие заварушки в уездах...»).

В кабинете с незавешенными окнами было тихо, непроницаемая осенняя мгла сгустилась за ними. Некоторое время хозяин кабинета сидел, откинувшись на спинку стула.

— Да-а, хлеб в человеке воин,— медленно произнес он.— С хлебом можно и беду съесть. Так, кажется, говорят... А на Сибирь нам рассчитывать нечего. Не добудем мы нынче хлеба в Сибири.— Он точно думал вслух, полузакрыв глаза.— А в Вятской губернии замечательный урожай. Богатейший... Первый советский урожай на бывшей помещичьей земле. И надо успеть убрать его до последнего зернышка. Не надо бы, а надо, надо.— Он повернулся к Володе, спросил быстро: — У баржелавок установлены определенные часы для работы?

— Определенных часов нету. Ведем обменные операции во всякое время. Прибываем иногда ночью, а подводы с зерном уже на берегу. Сразу начинаем приемку. На такой случай у нас имеются фонари... Нас никогда не ждут. Ждем мы, если требуется.

Удивительно приятное чувство, когда можно отвечать вот так, не задумываясь, когда знаешь, что каждое твое слово подкреплено верной и прочной основой.

Владимир Ильич отодвинул в сторону лампу с зеленым абажуром — она, видимо, мешала ему разговаривать.

— Устаете вы, конечно, зверски! — вдруг сказал он.— Да не просто устаете, а переустаете... Ничем не восполнимая затрата сил...

Володя чувствовал на себе его внимательно-испы-

тующий взгляд. Вот оно, неизбежное, что ходит за ним по пятам. Видно по всему, что и здесь будет задан ему тот самый вопрос, приближение которого он уже научился предчувствовать.

Не раз бывало, что люди, с которыми разговаривал товарищ Зинин, спрашивали вдруг, сколько ему лет,— одни напрямик, другие издалека, с тактичным подходом. На это у него был в запасе ответ, звучавший достаточно солидно и не очень понятно. «Приближаюсь к концу второго десятка»,— быстро отвечал он и круто сворачивал на другую тему, оставляя собеседника в некотором затемнении; не сразу можно извлечь арифметический результат из такого сообщения.

И вместе с тем сообщение это содержало в себе истинную правду. Товарищу Зинину должно было исполниться восемнадцать, и, стало быть, он действительно приближался к концу второго десятка. Но здесь нельзя было так отвечать, и он ждал со стесненным сердцем: «Вот! Сейчас!» Ведь, помимо тягостных ощущений, этот вопрос мог привести и к нежелательным последствиям...

И вдруг:

— У вас еще какие-нибудь поручения в Москве? Когда рассчитываете выехать?

— Больше никаких поручений не имею! В желдорисполкоме обещали отправить сегодня ночью!

Значит, обошло стороной, и опять можно отвечать не задумываясь, верными, прочными словами.

Владимир Ильич кивнул слегка: видно было, что именно такой ответ ему хотелось услышать.

— Если без происшествий, то доберетесь примерно на четвертый день.— Он перелистал странички настольного календаря.— Товарищу Малышеву передайте, что мы тут безотлагательно перетрясем все наши, с позволения сказать, закрома, амбары, склады и прочая... Ответим ему на имя вятского губпродкомиссара — ведь «красный купец» не сидит, разумеется, на месте... Между прочим, не забудьте у меня вашу папку. Отличная вещь, пригодится.— В голосе его слышалась улыбка. Он взял папку, хотел ее сложить, и оттуда выпал помятый бумажный листок с оборванным уголком.— А тут, оказывается, еще что-то есть.— Он приблизил листок к глазам, потом подержал его на отдалении.— Похоже на стихи. Ваши?

«Наш Володечка умеет краснеть до умопомрачения»,— говаривала Володииа тетя о своем племяннике. Миого тяжелых минут доставила ему эта мучительная способность. И сейчас горячая краска ожгла шею, лицо, уши. Опять иеловкость с этой папкой, да еще какая! Но нельзя же стоять и молчать столько времени...

— Приходится бывать в деревнях, селах... выясияешь у населения, какой спрос... местные зериовые ресурсы. Иногда попадешь в престольный праздиик... Песии поют, частушки... Хочется иногда записать... коиечно, в свободиое время...

Ои замолчал в полном смятеиии. Открылось то, что он прятал, скрывал,— и где открылось? Даже друзья не зиали об этом его увлечении, он ни за что бы в ием не признался. «Хлеб надо гнать, ребята, хлеб! — нередко говорил Малышев.— Сегодия мы его заготовляем, а завтра, может быть, придется подрывать рельсы в тылу у белых! Такое время!»

Допустимо ли, позволительно ли в такое время отвлекать себя посторонним заиятием, держать его в мыслях при выполиеиии иепомерно ответственной задачи? Да и в деревнях и селах, куда он добирался всеми возможиыми и иевозможиыми оказиями, многие подозрительно косились иа приезжего «комиссара», который все пишет что-то в свою книжечку, отойдя в стороику, будто таясь от людей. И лишь веселые девахи, шагу не ступающие без частушки, добродушно посмеивались, когда он подходил к ним с киижечкой, и даже следили, чтобы он все писал, как есть...

— Так это записано вами в деревне? Из самого, так сказать, первоисточиика? А где, в какой? Далеко от города?

Стало легче дышать, жар отхлынул от щек.

— Верст сорок от Вятки, деревня Нижии-Кочки.

— Прочтите, пожалуйста, вслух!

Володя взял протянутый ему листок с поспешными, скачущими строчками. Он держал в памяти ие одиу сотню таких строчек — веселых, грустных, трогательиых, озориых. И те, что иа этом листке, знал он наизусть, но сейчас легче было произнести их, держа перед глазами.

Позвала подружка Клавка:
Пойдем в Нижни-Кочки,

Привезла там баржелавка
Красные платочки.

Кумачовые платочки
Так и пышут, что огонь,
Я надену тот платочек,
Ты, грубьян, меня не тронь!

Незаметно для себя, с первых слов, он читал с той особой манерой, с какой полупоют, полувыговаривают частушки в Вятском крае.

— Разрешите-ка мне на минутку! — услышал он.

Листок перешел к Владимиру Ильичу. Прищурясь, он вглядывался в беспорядочно набросанные строчки.

— Где это? Ага, вот здесь!.. «Я надену тот платочек, ты, грубьян, меня не тронь!» Девушка надела красный платочек и требует к нему уважения. И грубьян должен это понять, иначе натолкнется на отпор — так и чувствуется это в ее словах!.. Да, теперь красный платочек не просто кусок кумачовой материи. И как это прекрасно выражено — скромно, ненавязчиво. Не прибавить и не убавить ни одной буквы...

«Так вот, оказывается, что можно увидеть за этими нехитрыми частушечными строчками, вот какой смысл может в них открыться!»

— И много у вас записано?

— Вот столько! Вот такая кипа!

— Необыкновенно интересно! Замечательное дело! Это ведь тоже наше государственное достояние, его надо собирать, хранить. Не всегда же мы будем заготовлять хлеб с оружием в руках, не всегда же будут на свете белогвардейцы и Антанта... Вы еще книгу напишете. С песнями, частушками, пословицами... Только смотрите, чтобы она не была шибко ученой. Что-нибудь этакое вроде «К вопросу о словесах и речениях Вятской губернии».

...В приемной дожидались своей минуты новые посетители. Трое сельских дедов-бородачей неловко сидели на краешках стульев, держа шапки на коленях. Тут же, в углу, были сложены их котомки. Когда Володя вышел из кабинета, они приподнялись, лица у них были встревоженные и торжественные, и ему захотелось сказать им: «Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Я уже это испытал».

ОЧЕНЬ ДАЛЕКИЙ ДЕНЬ

С того самого часа, когда на обходе выздоравливающих главная докторша похвалила Симона Петрика за «молодецкую поправку» и пообещала скорую выписку, он понял, что это такое — «места себе не находить». На него навалилась жестокая бессонница. Мягкая подушка казалась теперь колючей, точно ее туго набили соломою, одеяло — чересчур жарким, и все время думалось только об одном: долго ли еще маяться ему здесь и когда наконец исполнит свое обещание главная докторша?

Дело решилось неожиданно быстро — через сутки после обхода. Ночью привезли новую партию раненых, мест, как всегда, не хватало. Намеченных к выписке откомиссовали досрочно, и вскоре на руках у красноармейца Петрика Симона Адамовича уже были справка о пребывании в госпитале и направление на военно-пересыльный пункт. Тут же он поступил в распоряжение старшего санитара, которого все называли «Батей». Батя — однорукий старикан со свирепыми усами — привел его в каптерку, где Петрику полагалось снять с себя все госпитальное и получить собственное обмундирование.

В каптерке удушлнво пахло заношенной и лежалой солдатской одеждой. Батя громко поминал всех родственников, раскапывая залежи узлов и свертков, наваленных до потолка, но Петрик чувствовал себя великолепно: последний расчет с госпиталем, последний!

— Твое, что ли? — кричал ему сверху Батя, швыряя под ноги очередной узел, перетянутый ремешком или веревкой.— Да ты, солдат, шевелн быстрее мозгой, некогда мне тут с вами...

Наконец сверток с деревянной бнркой, где было нацарапано черннльным карандашом «Петрнк Снм. Адамов.», был отыскан. Пожнткн, находившнеся в свертке, трудно было назвать обмунднрованнем, но Петрнк обрадовался им как старым, добрым знакомым.

Вот его бывалая гимнастерка, потерявшая свой первоначальный цвет, со следами присохшей окопной земли, с прорехой на плече, шаровары в мазутных пятнах, скоробившиеся рыжие ботинки с веревочнымн шнурками.

Всякое довелось нспытать нх владельцу: втнскиваться в теплушки, ползти, прижнмаясь к земле, с телефонным проводом, падать куда придется, когда рядом, кажется в двух шагах, внзжнт снаряд, сндеть скорчнвшись в сыром окопчнке.

Найдя нужный узел, Батя сразу добрел — такой был у него нрав — н душевно беседовал с уходящим нз госпиталя.

— Положенне твое, солдатнк, было аховое,— говорил он, благожелательно поглядывая на Петрика, который, сидя на полу, навертывал обмотки на свои длнnные худые ногн.— Я, брат, еще в японскую насмотрелся в полевом лазарете... Заражение было у тебя, а это, солдатик, как гласит медицнна,— летальный нсход, а порусскому — летать такому человеку прямо на тот свет... А тебе прнвалнло. Наружную внешность тебе попортили, зато сам живой!

— До снх пор не верю! — радостно бормотал Петрнк, развязывая зубамн узлы на веревочных шнурках.— Главная докторша мне объясняла так, что очень крепкое у меня основание. Я думаю, оттого, что много ел сала. У нас на Беларуси уж так заведено — едят его прямо с грудного возраста. Мне матушка рассказывала:

вожжаться, говорит, с тобою было недосуг. Заорешь, а я тебе сразу шматочек сальца... Ну и лежишь, сосешь да помалкиваешь...

— Эта твоя догадка вполне законная,— подтвердил Батя.— Сало и мед есть не только вкуснейший продукт, но и дает человеку резерв силы... Эх, боже ты мой,— тяжело вздохнул он,— как подумаешь, как припомнишь... шкварочки эти на сковородке. Скворчат... Куда там пение соловьиное...

— Батя! Эй! — донеслось из-за двери.— Ходи сюда!

Лицо у Бати сразу отвердело, свирепые усы шевельнулись:

— Начхоз зовет! Ну, прощевай, солдат... Некогда мне тут с вами...

Петрик вышел из госпиталя без обиды на последние Батины слова. Какая может быть обида? Служба! А главное — не до этого, когда ноги ведут тебя через госпитальный дворик прямо к калитке, а за калиткой — Москва.

В Москве Петрик еще не бывал, и теперь, когда находился в столице, тоже не имел случая увидеть ее. Он был без сознания, когда его доставили из санвагона прямо в госпиталь. Но слыхал он о Москве с малолетства — рос на полустанке, в семье путевого обходчика.

Слыхал он про знаменитый малиновый звон и сорок сороков, про благолепные крестные хóды, лихачей-извозчиков с лакированными пролетками и чудо-конями, о каких-то особых, сдобных, расписных пряниках, которыми торгуют на улицах, о трактирах с музыкой, о магазинах, где можно заблудиться, как в лесу.

Подсчитать, так совсем еще недавно существовала эта Москва, но теперь она была уже вроде полусказки-полубыли, да Петрик и не сожалел о том, что такую ее не застал. По нынешней Москве — негромкой, малолюдной, с вспученными или, наоборот, осевшими булыжными мостовыми, со следами пуль на стенах, а то и с воронками от снарядов — он шел с особенным чувством. Эту Москву он защищал на дальних подступах, стоял за нее грудью...

По календарю была уже поздняя осень, но деревья еще не сбросили листвы, прохваченной ржавчиной, в воздухе плавали тонкие нити паутины, и казалось, что неяркое солнце даже пригревает слегка.

Во всяком случае, нехолодно было и в одной гимнастерке («Шинель осталась на месте происшествия»,— объяснил в госпитале Петрик, когда Батя составлял на него листок «наличного вещевого довольствия»).

Ноги в тяжеленных, уже давно отслуживших свое солдатских ботинках передвигались нелегко, и все-таки, всем существом своим, Петрик жаждал движения. Он не опасался, что заблудится в этих кривых, горбатых улицах и переулках, упиравшихся вдруг в тупики. Сосед по койке, наборщик-москвич, начертил ему подробнейший план, где все было обозначено — и то, что требовалось для дела, и то, что, по его мнению, «преступно не посмотреть». И Петрик шагал вполне уверенно, поглядывая вокруг с детским любопытством.

Вот улица, идущая в гору, заросшая травой, теперь уже сухой и желтой, с потемневшими деревянными домиками вперемешку с амбарами кирпичной кладки. В том месте, где строения как будто отступали вглубь, стая мальчишек гоняла тряпичный мяч — вольготно, точно на поле.

У двухэтажного особнячка с уцелевшей кое-где голубой штукатуркой Петрик остановился как по команде. Такие вещи, наверно, встречаются лишь в Москве: в простенке между окон — зеркало, треснувшее, затуманившееся от времени, с прозрачными пятнами, из-под которых проступает голубая штукатурка. Уличное зеркало, московское чудо, любуйтесь, прохожие!

Интересно было взглянуть на себя во весь рост, при полном освещении. Петрик придвинулся к зеркалу почти вплотную. Вот таким, стало быть, видится он людям. Если смотреть с левой стороны — это Симон Петрик, каков он был, похудевший, конечно, и зеленоватый. А если взглянуть справа — совсем другая картина: от скулы через всю щеку тянется извилистый синий рубец, точно река, нарисованная на географической карте.

Госпитальный парикмахер не брил эту щеку, а осторожно подстригал кое-где отраставшую щетину, и теперь на щеке видны были неровные белесые кустики.

— Бороду надо запускать,— прикидывал Петрик.— Только волос худо растет на этом месте... А без бороды нельзя...

В зеркале отражалась и улица — широко, во все стороны,— и он увидел, как мальчишки, оставив уже сов-

сем растрепанный мяч, побежали вверх по дороге. Послышалось натужное тарахтенье мотора, по бугристой мостовой медленно спускался автомобиль, подскакивая на невидимых под травяным настом выбоинах.

Мальчишки обегали его со всех сторон, и шоферу, как видно, приходилось все больше притормаживать, чтобы не наехать на кого-нибудь из них. Петрик тоже сошел на дорогу, чтобы поближе рассмотреть автомобиль. В моторах он разбирался, но такую машину — с круглым, как бочонок, радиатором, длинным кузовом и запасным колесом, пристроенным сбоку,— не встречал.

Автомобиль вдруг затормозил как раз напротив того места, где находился Петрик. Дверца открылась, внутри сидели двое. Тот, кто ближе к Петрику, в военном: защитная фуражка, шинель; рядом с ним — человек гражданского вида, в кепке и расстегнутом пальто.

Полуобернувшись, военный выслушал что-то сказанное ему соседом, потом обратился к Петрику:

— Далеко следуете, товарищ боец?

Петрик одернул гимнастерку, поправил суконный шлем и ответил как положено:

— Следую из госпиталя, где находился на излечении после полученного ранения, на военно-пересыльный пункт для дальнейшего прохождения действительной службы в Красной Армии. Докладывает красноармеец Петрик!

— А ранение вы где получили, товарищ? На каком фронте? — Голос военного звучал совсем не по-командирски, но Петрик не зря проходил выучку в той части, которой командовал бывший прапорщик Русаков.

— Осколочное ранение в челюсть получено мною под Валуйкой летом, августа сего года, во время прокладки связи со штабом бригады!

Отвечая на вопросы военного, Петрик все время чувствовал на себе пристальный взгляд его соседа.

— Доброволец? — спросил пассажир в кепке, наклоняясь к дверце. Военный отодвинулся назад, чтобы не мешать ему разговаривать.

— Так точно, доброволец! После нахождения в партизанском отряде был послан командованием на военно-технические курсы... Окончил с отличием! — не без гордости добавил Петрик.

— А вот... что на вас надето — это получено в госпитале?

— Обмундирование на мне фронтовое... как было сдано в госпитальную каптерку, так и получено при выходе!

— А в каком госпитале вы лежали?

Петрик не помнил ни номера, ни улицы, где находился госпиталь. Сам он никому не писал, и ему, следовательно, не от кого было получать письма.

Он достал из гимнастерки направление, справку и подал их пассажиру в кепке. Вот, в документах все обозначено.

Тот взял бумаги, долго держал перед глазами. Петрику показалось, что он уже не читает их, а о чем-то задумался.

— Родители у вас живы? — спросил он, будто проникнув в какие-то отдаленные мысли Петрика, и протянул ему бумаги.

— Родители не живы,— растерянно и, против желания, сухо ответил Петрик.— Отец на германском, мать от тифа...

Пассажир в кепке помолчал.

— Как рана ваша? Хорошо вылечили? Не болит? Не мешает?

— Лечили очень хорошо,— точно встряхнулся Петрик.— Если на себя не гляжу, так и не думаю о ней вовсе... Есть там один санитар, Батей его называют. Он мне так определил: красивый не будешь, а молодой останешься... Мне нынче двадцать второй,— пояснил Петрик.— Я так думаю, что военной службе это не может помешать! Руки, ноги, глаза имею в полной сохранности... Со своей стороны позвольте и мне спросить, если можно,— какой системы ваш автомобиль? Я в них имею понятие, но с таким незнаком!

Сидевшие в автомобиле переглянулись, и первый раз за весь разговор в глазах у пассажира в кепке промелькнула улыбка. Он дотронулся до плеча шофера:

— Ну, это уже по вашей части. Объясните товарищу!

— Эта система называется «Делонэ-Бельвиль»,— сказал шофер, нагибаясь к Петрику.— Машина очень послушная, но бензинчик ей подавай чистенький, как

слеза, а где его взять?.. Вот она и дурит когда вздумается...

— Очень благодарен! — Петрик отошел в сторону, показывая, что не считает более возможным задерживать своими расспросами.

Пассажир в кепке достал часы, скользнул по ним быстрым взглядом.

— До свиданья, товарищ! — сказал он Петрику.— Я желаю вам здоровья... и уж в госпитали больше не попадайте!

Военный приложил руку к фуражке. Петрик едва успел поднести свою к шлему, как автомобиль резко взял с места. Мальчишки, слушавшие разговор с разинутыми ртами, опять помчались за ним, как будто могли догнать.

Петрик смотрел ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. «Видать, люди серьезные, ответственные,— подумал он.— Вот который у них старший — не понять. А пожалуй, тот, в кепке, хотя вроде гражданский человек».

На этом размышления Петрика об автомобиле и его пассажирах прервались — много было своих дел впереди и надобности возвращаться к ним у него не предвиделось.

Так и пошли год за годом, складываясь в десятилетия. Уже давно все называли Петрика только по имени-отчеству,— разумеется, кроме жены. Он уже перешагнул пенсионный возраст, но был здоров и бодр, и даже шрам на щеке стал не так заметен. У себя на родной Беларуси он заведовал районной конторой связи и неизменно избирался в члены райсовета.

Его биографию смело можно было назвать героической, если бы на великом пространстве Советской республики не проживали еще тысячи тысяч людей со схожими биографиями — те, кого по неясной причине именуют нередко «простыми людьми». Вся их жизнь была накрепко слита, спаяна с жизнью страны, все прошло через их разум и сердце — и едкие горести, и щемящие тревоги, и возвышенные радости.

И когда они самым будничным образом заполняли анкеты, где спрашивалось об участии в войнах, о ранах и наградах, о том, как они жили и работали дальше, то получались — если посмотреть вдруг со стороны — по-

разительные повествования о нечеловеческой выносливости, безмерной духовной силе, о таком «сопротивлении материала», который никогда не исчислит никакая наука. Но сами эти люди меньше всего думали об этом и, по существу, не имели времени оглядываться назад...

И все же наступил такой день, когда неожиданные и удивительные обстоятельства заставили Симона Адамовича вернуться к той далекой встрече, казалось уже совсем забытой.

Приехав как-то в Минск по делам конторы, он зашел в свой «подшефный» книжный магазин.

Магазин этот, в отличие от многих иных, предоставлял своим покупателям приятнейшую возможность порыться в книгах и не спеша найти то, что приглянется.

Вот здесь и попалась Симону Адамовичу книга о минувших днях. Книги-воспоминания он любил, собирал их и сейчас с интересом перелистывал томик в немудрящей обложке. Взгляд его задержался на одной из страниц, где написано было про Москву первых советских лет. Он прочитал страницу, потом вернулся к началу.

— Беру эту книжку,— торопливо сказал он продавщице, точно боялся, что у него перехватят покупку.— А еще есть такие?

Продавщица посмотрела на полку:

— Четыре экземпляра осталось.

— Давайте, пожалуйста!

В вагоне пригородного поезда, который должен был довезти его до конечной станции (оттуда в район шли автобусы), нашлось пустое купе. Симон Адамович забрался туда, сел к окну, раскрыл книгу на той же странице и опять начал читать ее медленно, отрываясь иногда и глядя в окно.

Смутное, тревожное чувство овладело им. Так бывает, когда пытаешься восстановить полузабытый сон. Что-то вспоминается, что-то ускользает.

Странно знакомым кажется начало этой страницы: или он читал уже об этом когда-то, или слышал чей-то рассказ, или видел во сне?

Вот по тихой московской улице, поросшей травою, движется автомобиль, а на развороченной панели остановился красноармеец. Наверно, интересно ему посмот-

реть на необычную машину. Она тормозит вдруг возле него, открывается дверца, его спрашивают:

— Далеко следуете, товарищ боец?

А дальше сообщается, что красноармеец опирался на костыль. Костыля не было. Что-то не то! Но разговор? Почти слово в слово!

Это же у него спрашивали, из какого госпиталя выписался, откуда получил обмундирование, живы ли отец с матерью?

И написано, что в этой машине ехал Ленин.

Симон Адамович сидел некоторое время, крепко сомкнув веки.

Сколько раз видел он потом фотографии и портреты Ленина, и ни разу не вспомнился ему тот человек, сидевший рядом с военным. Не узнал Ленина! Наверно, потому, что был тогда «не в себе» — ведь сразу после госпиталя. И потому еще, что и подумать не мог о такой встрече. И ленинских снимков не приходилось видеть — мало их было тогда, не до всех доходили.

Но это был Ленин — вот тут сказано: «До свиданья, товарищ! — сказал Владимир Ильич и пожелал красноармейцу не попадать больше в госпиталь». Да, так было!

На этом кончалось то, что вспыхнуло сейчас в памяти. А дальше? Тут много еще написано. Симон Адамович уже не отрывался от книжки.

«Ленин сидел молча, погруженный в свои мысли, и вдруг, за поворотом дороги, сказал своему спутнику:

— У нас еще есть немного времени, а товарищ Гиль поднажмет... Заглянем-ка в этот госпиталь... тут ведь недалеко!

Когда Владимир Ильич приехал в госпиталь, там заканчивался полдник... Первым их увидел госпитальный начхоз...»

Симон Адамович зажмурился на секунду, и перед ним возник рослый, представительный мужчина в комсоставской гимнастерке с накладными карманами, в желтых, поскрипывающих ремнях, в кавалерийских галифе с кожаными шлеями. Начхоз! Фасонистый был му-

жик, но деловой. Очень гордился своей столовой. «Такой ни в одном лечебном заведении не увидите!» Огромная комната с откидными столами. На стенах картины с румяными, спелыми плодами, овощи, зелень, окорока — все «как живое».

«В красном уголке Ленин говорил комиссару госпиталя:

— Где-то мы с вами встречались?

Плотный, седоватый человек радостно улыбнулся:

— В Петрограде, Владимир Ильич, в Смольном. Я вас остановил в коридоре, а потом мы продолжали разговор в вашем кабинете... Я к вам приходил с «Айваза» насчет рабочего контроля».

Симон Адамович вскочил: все точно! Этого комиссара не позабыть! Он и есть! Простяга такой! Всех на «ты» — и докторов, и нашего брата. Любил закрутить насчет международной акулы империализма, все и начинал с нее... А сейчас-то как волнуется? Еще бы! Вам бы так... открываете дверь, а там Ленин!..

«— Начальника госпиталя в настоящее время нету,— сказал комиссар.— Он поехал в Главснабпродарм. Медицинский персонал и раненые на своих местах.

— С бойцами я поговорю обязательно! — Ленин повернулся к начхозу: — Значит, на вашем попечении находится все госпитальное хозяйство?

— Совершенно верно, товарищ Ленин! — приподнялся со стула начхоз.

— Вы член партии?

— Недавно принят нашей ячейкой, как деятельный и оправдавший доверие товарищ,— ответил за начхоза комиссар,— хотя классовая принадлежность не пролетарская...

Ленин молча выслушал его.

— Покажите вашу каптерку,— коротко сказал он начхозу.

— Каптерку? — переспросил начхоз, точно ослышавшись.— Каптерку?

— Да, да, покажите каптерку,— нетерпеливо повторил Ленин.— Где она у вас?

Начхоз взглянул на комиссара:

— Каптерка? Она у нас там... при входе,— он шагнул к двери, приоткрыл ее и крикнул: — Старший санитар!..»

«Уф! Ленин заходил в эту каптерку! В эту нашу каптерку!» — Симон Адамович видел с необыкновенной отчетливостью, как Батя, втянув голову в плечи, открывает висячий замок. И вот Ленин входит в эту каптерку.

«— Достаточно. Закройте! — сказал Ленин начхозу.

Тот взял у санитара ключ, но замок у него не закрывался. Ленин пошел обратно в красный уголок.

— На, закрой! — Начхоз с тихим бешенством сунул ключ санитару.— Что за проклятые замки? Почему не докладываешь?

Вернувшись в красный уголок, Ленин стал рассматривать стенную газету. Неожиданно он повернулся:

— Сегодня мы встретили по дороге красноармейца, который только что выписался из вашего госпиталя,— сказал он, ни к кому не обращаясь.— Как он выглядел? На него было мучительно и больно смотреть! У него просвечивало тело через гимнастерку... на плече,— добавил он совсем тихо».

Симон Адамович положил книгу на колени. Сердце у него «торкнулось» — так говорили у них на Беларуси. Уже нет этих долгих лет! Все происходит сейчас, здесь, рядом! Он даже потрогал себе плечо... Но кто это все запомнил, написал? Откуда узналось? Наверно, тот военный и шофер, и все, кто был тогда в госпитале. Писатели потом занимались этим — собирали каждую крупицу, спрашивали народ...

«— И он не произнес ни единого слова недовольства, ни единой жалобы! Какие изумительные, благородные, самоотверженные люди!.. Совсем еще молодой! — Ленин

постоял несколько секунд, точно опустив руки по швам, потом быстро подошел к начхозу.— Вот вы, есть у вас фантазия? Так представьте, что это не он, а вы проходите с винтовкой и мешком за плечами десятки верст по осенней слякоти! Вас подымают в атаку, в вас стреляют, закидывают гранатами!.. В вас угодил осколок, вас привезли в госпиталь, сняли мокрую, набухшую одежду... может быть окровавленную... Лежите месяц, три, пять, не знаю сколько... боретесь со смертью. Как-то выкарабкались... и на вас напяливают ту же самую одежду... грязную, измятую, рваную!..

— Мы возвращаем... их же обмундирование... у нас нет другого!

— Я не хочу слышать никаких оправданий. Их нет! Их не может быть! — В глазах Ленина метнулись искры.— Вас тут охарактеризовали как деятельного работника, оправдавшего доверие, приняли в партию. Как же вы можете расхаживать тут, этакий воинственно-роскошный, в ремнях и портупеях, когда наши герои, защитники революции, отдающие свою жизнь, уходят от вас в грязном тряпье?! Да, именно в грязном тряпье,— гневно повторил он.— Мы не можем одеть их в новое! У нас еще целые полки воюют в лаптях!.. Но привести в порядок сданную вам одежду, добиться, чтобы ее выстирали, зашили, погладили,— вы обязаны это сделать! Трудно? Да, конечно, трудно! Но есть у нас трудности потруднее этой, и их преодолевают!.. Как у вас хранятся документы? — вдруг спросил он.— Ведь сдают же вам при поступлении какие-то бумаги, письма, деньги? — Он выжидал, глядя в упор на начхоза.— Никак, очевидно, не хранятся? Держат у себя под подушками, под матрацами?..»

Узнал и это! Как? Да, все верно! Держали под матрацами, подушками! Бывало, придут санитары делать уборку, начнут перетряхивать постели и в общую кучу все, что найдут. Потом сидим и разбираем чье и кому.

А начхоз? Каково ему сейчас? Какой момент в жизни!.. Ленин, Ильич, прожигает тебе душу такими словами! Вот, написано тут, что начхоз начал себе пальцы ломать!

«— Перестаньте же! Как вам не стыдно! — Ленин подошел к начхозу вплотную.— Вы лучше сейчас же, сию же секунду возьмитесь за дело! Пусть оно не дает вам покоя, пусть грызет, мучает, пока вы не сделаете его! Только тогда вы будете вправе считать себя коммунистом!.. А вы, товарищ с безукоризненной классовой принадлежностью,— повернулся он к комиссару,— уж не думаете ли вы, что в вашей работе существуют... как бы это выразиться... житейские мелочи, что ли? Отдельно от стенгазет, памяток, лозунгов?!

Лицо у комиссара потемнело, резче обозначились морщины.

— Нет, я этого не думаю... Вернее, никак об этом не думал!.. Что я могу ответить вам, товарищ Ленин? Вы правы! Могу сказать только,— глухо добавил он,— что спрошу с себя самого... и не только за это!

Ленин пристально посмотрел на него, потом перевел взгляд на часы:

— У меня остается мало времени, а я хочу повидать наших товарищей... раненых и выздоравливающих. Как это сделать, чтобы их не тревожить? — обратился он к комиссару.

— Разрешите, если можно? — подал голос начхоз.

Ленин молча повернулся к нему.

— Всех ходячих больных разрешите собрать в одно место, их у нас больше семидесяти процентов состава госпитализированных. Лежачих перенесем с койками и на носилках. Собрать можно в столовой и возле нее, там много свободного пространства...

— Другого ничего не придумать, Владимир Ильич,— вмешался комиссар.— Могу вас уверить, что все будут довольны... все вас увидят и услышат... Идите, устраивайте! — сказал он начхозу, и тот мгновенно исчез.

Никогда еще, наверно, не видано было в госпитале такого дружного и всеобщего «нарушения распорядка». Помещение перед столовой было заставлено койками, носилками. Передний ряд выплеснулся почти до самого порога. У стен прилепились врачи, сестры.

Поправляя на себе халат, Ленин какой-то осторожной походкой подошел к раскрытым дверям столовой. Ему хлопали с коек и носилок, и все, кто только мог подняться,— поднялись. Он огорченно развел руками. Тем временем начхоз подставил ему стул и маленький

столик. Ленин, почти не поворачиваясь, бросил скороговоркой: «Не нужно! Я буду стоять! И столик уберите, пожалуйста!»

Еще минуты две все вокруг него успокаивалось, рассаживалось, поскрипывали стулья, скамейки, табуретки, утихал говор. Тишина точно наплывала неровными толчками. И вот она стала абсолютной, совершенной, когда можно, кажется, услышать звук от упавшей спички.

Комиссар, стоявший рядом с Лениным, поглядывал на него.

Заметно было, что он приготовился говорить, сделать какое-то вступление, но разве можно было нарушать эту тишину?

Ленин молча всматривался в лица, в десятки лиц — молодых, исхудалых, точно опаленных.

— Как вы себя чувствуете, товарищи? Как поправляетесь?.. Как вам здесь?

Поднялся красноармеец с забинтованной головой.

— Я, товарищ Ленин, отвечу вам от себя... и рассчитываю... ото всех товарищей,— он говорил не спеша, как будто не волнуясь, но часто останавливался, и тогда желваки на его скулах непрерывно двигались.— Я скажу так: живем по времени. Каша жидковатая, приварок у нас небогатый, но...

— Плохо отвечаешь ото всех! — послышался суровый голос.— Начал бубнить про кашу. Не о каше разговор!

— Нет, и о каше! — задумчиво, точно про себя, заметил Ленин.— Еще не скоро, пожалуй, мы перестанем о ней говорить... Мы слушаем вас, товарищ!

— Я так хотел высказать,— красноармеец с забинтованной головой поискал глазами того, кто его прервал,— высказать так, что каша, значит... какая она ни на есть... имеет в нашей жизни свое место... и не больше! Мы тут между собою шумим, что, мол, теперь мы военнообязанные... Это мы так, для облегчения переживания! Но мы, товарищ Ленин, всегда знаем и помним, что мы есть солдаты... и по мере поправки здоровья хотим занять свое место в строю со своим оружием по роду войск...»

Симон Адамович вскочил, крепко потер лоб:

— Забинтованная голова!.. Это же Пальчиков

Григорий! Смешная такая фамилия! Все задирался с начхозом. Нервные оба!.. Пальчиков! Смотри, какой молодец. Хорошо сказал! А вот еще кто-то просит слова.

«...Невысокий красноармеец с отросшими уже светлыми волосами, которые подчеркивали синеватый цвет лица, заговорил быстро, точно боясь, что ему вот-вот помешают:

— Товарищ Ленин! Я имею пулевое ранение в коленную чашечку. Не опасно для жизни, но хлопотливо... но я хочу сказать не об этом! Я наборщик. Работал в известинской типографии, вот этими руками набирал бюллетени после злодейского покушения эсерки на вас...»

Да это же мой сосед по койке! Который план рисовал мне! Постой, как же его звали?.. Не помню!.. Встретиться бы теперь!

«— Мы, наборщики, первые узнавали о вашем состоянии. Бывало, не уходим из типографии, все ждем, когда привезут бюллетень... Как же теперь состояние вашего здоровья, товарищ Ленин? Мы слыхали, что вы и теперь не оберегаетесь, и всюду бываете, и выступаете? И вокруг вас не видно охраны!.. И хочу еще спросить,— он вытер лоб рукавом халата,— тут все свои люди... Конечно, нам разъясняют текущий момент. Вот товарищ комиссар проводит беседы. И газеты нам дают... Но узнать бы прямо от вас про всю текущую обстановку!

— Хорошо, отвечу на эти вопросы,— улыбнулся Ленин».

...Подумать только. Слушали целый доклад. Доклад Ленина! Задержись я тогда еще на час... Ну, Батя завозился бы подольше с моим узелком! Или с бумагами получилась бы задержка. И я бы сидел там вместе с ними!

Симон Адамович глядел на раскрытую страницу. Вот слова Ленина, которые он мог бы слышать!

— Стой! — сказал он вслух.— Не мог бы я их слышать! Ведь все началось с меня! Да, с меня!.. И со мной он разговаривал раньше, чем с ними... со мной!

Дверь в купе скрипнула. Симон Адамович вздрогнул, закрыл книгу. Вошла краснощекая проводница в кокетливом беретике.

— Гражданин! Будем выходить или как?.. Зачитались?

— Зачитался!

Проводница с любопытством посмотрела на седого пассажира с длинным шрамом через всю щеку, на книгу, лежавшую перед ним на столике.

— Уж не про любовь ли читаете? — улыбнулась она.

— Да, девушка, тут написано про любовь!

КАЗЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА

Вновь собрались они в знакомом зале с зеркальными стеклами, выходящими на Неву,— шумные, торопливые, в потрепанных кожанках, в гимнастерках, выгоревших добела, в обмотках, в тяжелейших армейских ботинках, в кепочках, в солдатских фуражках с пятиконечными звездами.

На глянцевитых кусочках картона с фестончиками по краям (бывшие визитные карточки какого-то бывшего барона) было написано от руки с обычной телеграфной краткостью: «Явиться ПК четыре часа дня».

Так бывало уже не раз. Почти все, кто находился в зале, успели пережить по три, по четыре мобилизации. Но куда теперь — этого никто не знал.

— Братва, сам не в курсе, ей-бо! — клялся и божился комитетский деловод, регистрируя прибывающих.— Заседают! Объявят! — И показывал на плотно закрытую дверь с великокняжескими вензелями.

В ожидании спели, как водится, «Нарвская застава, Путиловский завод», «Было дело в Петрограде», «Цыганочка гай-гай» с притопом и присвистом.

И вот открылась дверь с вензелями. Песня оборвалась на полуслове. Наступила тишина — полная, глубокая, когда не слыхать ни скрипа, ни шороха.

На деревянный помост, сколоченный наспех для президиумов и ораторов, поднялся Антон Луба, пытливо сощурил глаза, точно прикидывая, как отнесутся к его сообщению, и сказал самым обычным голосом:

— Товарищи актив! Сейчас состоится медицинское освидетельствование. Вызывать будем по списку в порядке вашего прибытия.— Он заглянул в листок.— Первым значится у нас Лодейкин Егор!

Зал ответил озадаченным молчанием. Лодейкин Егор не откликался. Потом хриплый, прокуренный басок произнес с растяжечкой из глубины зала:

— Вот это да-а... Це трэба разжува-а-ты...

— Разжуваты будем позже, товарищ Дубонос! Повторяю — Лодейкин Егор здесь?

— Ну допустим, я здесь! — не сразу ответил парень в широченных клешах и морской фуражечке с надписью: «Яхт-клуб».

Луба поправил упрямый вихор на лбу:

— Так пошевеливайся, дорогой! И всем прочим для сведения: вызывают — шагай! Дисциплину не забывайте... Давай, Гóра, заходи,— уже по-свойски добавил он.

Дверь закрылась. Все недоуменно смотрели на нее. Медицинское освидетельствование?! Это что за штука? Даже слово такое не произносилось до сей поры! С этим делом всегда было коротко и просто — в последнюю минуту перед отправкой беглый вопрос: «Есть больные?» И не припомнить, чтобы таковые находились.

Но если дело начинается с докторов, то здесь жди подвоха. К чему-нибудь обязательно придерутся, что-то окажется не так в печенке или в другом месте — и тогда уж пиши пропало. Оставят. Не допустят.

Даже бывалый Егор Лодейкин дрогнул, войдя в секретарскую комнату. Она превратилась в медицинский кабинет: белый стол и на нем какие-то блестящие инструменты, от которых становится заранее страшновато; диван, накрытый белой клеенкой; доктора в белых халатах. Бюро в полном составе — тоже в халатах.

Доктор Марк Ароныч, повсеместно именуемый Макаронычем, бросил на Егора Лодейкина косой взгляд изпод пенсне:

— Ага, старый знакомый... раздевайся... все, все снимай!

Мрачно сопя, Лодейкин стал разоблачаться. Макароныч нетерпеливо ерзал на стуле, пока он стягивал тельняшку.

И началось освидетельствование.

Такого Лодейкин еще не испытывал. Его взвешивали, измеряли, выслушивали, выстукивали, чертили на груди невидимые знаки, поворачивали во все стороны, тискали живот, оттягивали веки, заставляли приседать, делать вдох и выдох, открывать рот — «шире, еще шире!» — и наконец объявили, что он может одеваться.

Весь отсыревший, Лодейкин дрожащими руками взялся за одежду. Он видел, как Макароныч сел за стол, придвинул к себе плотный лист, где крупно было выведено сверху «Лодейкин Егор Кириллович, г. р. 1901», и поставил рядом с его фамилией жирную птичку. Потом еще раз окинул Лодейкина косым взглядом, пожевал губами и начал быстро писать.

Лодейкин с беспокойством смотрел, как соскакивают с пера мелкие, непонятные закорючки. Особенно подозрительной казалась жирная птичка.

— Это все про меня столько? — спросил он хрипло.

Отвесив брезгливую нижнюю губу, поминутно роняя пенсне с крупного старческого носа, Макароныч продолжал писать.

Лодейкин шагнул к столу, придерживая рукой спадающие штаны.

— Я здоровый,— громко сказал он.— Во у меня какая мускулатура, глядите! В медицинской помощи не нуждаюсь!.. Вы мне оказывайте ее на поле боя...— С каждым словом он распалялся еще больше.—И нечего мне птички ставить!

Макароныч заскрипел стулом. Его плоская лысина с седым бордюрчиком сделалась багровой, пенсне упало и закачалось на черном шнурке. И вдруг он вскочил, схватил за руку оторопевшего Лодейкина и подтащил к огромному каминному зеркалу в золоченой раме:

— Вот... гляди!

Лодейкин не помнил, когда видел себя в зеркале последний раз,— как-то ни к чему было. И теперь он исподлобья смотрел на малознакомого парня с несоразмерно тонкой шеей, с выступающими ключицами, с реб-

рами, которые можно было пересчитать на татуированной груди.

— Ты знаешь, кто ты? — кричал ему в ухо Макароныч.— Ты щепка! Ты мозгляк! У тебя половины веса не хватает!.. Нервы ни к черту, истощение... Прокурился насквозь!..

Лодейкин беспомощно огляделся. Члены бюро сидели с непроницаемыми лицами, а Луба как будто прятал набегающую улыбку.

— Это как же понимать? — дрогнувшим голосом спросил Лодейкин.— Признан негодным, что ли?

Антон Луба поглядел на него все с той же припрятанной улыбочкой:

— Товарищ комиссар яхт-клуба! Все узнаете в свое время! Есть военная тайна, а есть врачебная тайна, слыхал? Короче говоря, застегни ремень, а то штаны потеряешь, и позови Дубоноса.

Когда за Лодейкиным закрылась дверь, Макароныч вытащил цветной стариковский платок и долго протирал лысину:

— Хорошенькое дельце, а? И это с каждым будет такая морока?

— А вы что, не знаете нашу публику? Еще не то будет! Вели-и-кая буза произойдет, вот увидите...

Луба усмехнулся, и похоже было, что он доволен таким началом и другого не ждал.

БЕСЕДА О ЗНАЧЕНИИ ВЕСНЫ

Весною двадцатого года в бывший великокняжеский особняк на невской набережной, где помещался теперь Петроградский комитет молодежи, явились двое приезжих.

С первого взгляда видно было, что они прошли полный курс дорожных мытарств, «хватили шилом патоки», как шутили тогда. Одежонка их пообтрепалась до крайности, молодые лица обросли изрядной щетиной, но в глазах светилось торжество, как у людей, достигших долгожданной цели.

— Мы с города Дем,— объяснил бронзово-смуглый скуластый парень, певуче-затрудненно произнося

слова.— Я товарищ Сайтудинов, секретарь укомол. Вам сухари привезли. Дайте ребятка побольше, покрепче. Грузовики два-три...

Сообщение о сухарях мгновенно распространилось в ПК, и все, кто был в наличии, собрались со скоростью пожарной команды, чтобы отправиться на Николаевский вокзал.

В туго набитых, похрустывающих мешках, которые прибыли из Дема, лежали сухари — черные и посветлее, большие и поменьше. Частенько, таясь от старших, сушили и собирали их молодые демичи по всему уезду. И вот мешки доставлены на подмогу питерским ребятам.

В Петрограде была весна — первая весна, когда враг не стоял у его ворот. Война откатилась на запад, к польской границе, но в городе все напоминало о недавней боевой тревоге. Окна многих домов были забиты мешками с песком, улицы перегорожены баррикадами, опутаны колючей проволокой.

Красный Петроград голодал, терпел жестокие невзгоды, но жизнь в нем захватывала людей до самозабвения, и многие тысячи не захотели поменять эту жизнь на гладкую сытость в хлебных краях.

Перед отъездом демичей в городском клубе был устроен «вечер спайки», и тут, глядя на питерских ребят и девчат, Сайтудинов сказал Антону Лубе:

— Совсем, совсем плохие есть. Давайте наш Дем на поправку. Продукты имеем. Будут сытые. Буржуйская дача имеем. Посылайте сначала хороший парень, пускай едет смотреть...

— Идея яркая, что и говорить! — усмехнулся Луба.— Но только данный момент для нее неподходящий. Придется обождать, дорогой... Сколько? Кто же это знает?

А Сурыгин — его «зам», с портупеей через плечо, с тяжелой кобурой, оттягивающей ремень,— сказал коротко:

— Утопия!

Демичи уехали, и этот разговор позабылся в горячке дней. Иначе не могло и быть.

Через некоторое время все бюро вызвали в Смольный к «бабушке». Такие вызовы случались не раз и всегда означали что-то важное — «бабушка» была парт-

прикрепленной к комсомолу. По дороге в Смольный члены бюро старались угадать, что понадобилось «бабушке» так срочно.

— Будет нам сегодня концерт, чует сердце,— говорил Луба,— жалко, что программы не знаем...

В небольшом «бабушкином» кабинете они увидели ее занятой несколько странным делом. Она осторожно протирала белой тряпочкой почти невидимое, прозрачно сверкающее оконное стекло. И все в этой комнате — стены, пол, чернильный прибор, пресс-папье, спинки кожаных кресел,— все поблескивало какой-то стерильной чистотой. На письменном столе стояла вазочка с опущенной в нее веткой, раскрывшей ярко-зеленые листочки.

Такая обстановка сразу напоминала некоторым чересчур горячим посетителям, что сюда не врываются, а входят; не разваливаются, вытянув ноги во всю длину, а садятся как положено; и уж, наверно, никому не пришло бы в голову дымить здесь цигаркой и тем более притаптывать окурок к полу.

Каждый, кто видел «бабушку» впервые, неизменно удивлялся, почему ее так называют. Меньше всего походила на бабушку эта хрупкая на вид женщина с пышной короной светлых волос. Ей было тогда сорок лет — возраст силы, зрелости,— но половина этих сорока прошла в девятнадцатом веке, и такие безмерно огромные события вместились в жизнь ее поколения, что для молодежи она и впрямь являлась «бабушкой», хотя это была ее партийная кличка.

— Садитесь, молодые люди,— сказала «бабушка».— Сюда, поближе... Сядем рядком да поговорим ладком.— Она придвинула к себе вазочку с веткой, полюбовалась на нее.— Вот, смотрите: на юге не встретишь такого насыщенного зеленого цвета, а ведь там полно солнца и климат чудесный. Откуда же у нас, на чахлом севере, такой яркий, полнозвучный тон? А вот откуда: у нас нехватка тепла и солнца восполняется обилием света, нашими белыми ночами... Все очень мудро устроено.— Она торжествующе улыбнулась, точно сама участвовала в этом мудром устройстве.— Между прочим, молодые люди, вы обратили внимание, что на улице весна?.. Да еще какая!

Молодые люди выжидательно смотрели на нее.

— Беседа о значении весны? — язвительно-вежливо спросил Сурыгин.

— А почему бы и нет? — спокойно ответила «бабушка».— Весна вступила в свои права! Весною, например, принято собираться на дачу!

Молодые люди переглянулись. Опять дача! Сразу вспомнился бронзово-смуглый парень из Дема, который называл себя «товарищ Сайтудинов» и так горячо говорил о даче. Странно, что это устаревшее понятие упоминается за короткое время второй раз.

Точно не желая оставлять их в неведении лишнюю секунду, «бабушка» сразу сказала:

— Вам недавно подали замечательную идею. Дача! А вы отказались. Какие у вас доводы против?

Луба взглянул на Сурыгина — мол, тебе слово. Тот привычным движением поправил тяжелую кобуру на ремне. Говорил он спокойно, ровным, бесстрастным голосом. Он выражал удивление, что здесь, в этом кабинете, приходится напоминать старшему партийному товарищу всю, мягко выражаясь, неуместность этой самой пресловутой дачи. В данный момент! В такое время...

Не единожды бывали тут схватки боевые. Только позже, когда «бабушку» отозвали на работу в ЦК, многие из питерских ребят поняли, с каким неистощимым терпением и тактом поправляла она «заскоки» их горячей, подчас хватающей через край, нерассуждающей молодости.

Но на этот раз спора не последовало. «Бабушка» взглянула на Сурыгина и вдруг как-то легко улыбнулась. Такого Сурыгин не ждал, в глазах его мелькнула растерянность.

«Бабушка» открыла ящик стола, достала вскрытый конверт.

— Есть у меня старый друг,— сказала она, вынимая из конверта исписанную бумажку.— Старый большевик. Старый работник. И доработался до того, что врачи предписали ему сейчас же, немедленно, сделать перерыв и выехать на отдых. Ну, а он... сами понимаете! И вот, после заседания Совнаркома, на котором он присутствовал, подходит к нему другой старый большевик и говорит...— Она поискала в листке нужные строчки.— Вот что он говорит: «Слушайте, на кого вы похожи? Такое время — надо жить, бороться, а вы? Вы же казенное

имущество! Кто вам дал право так обращаться с собой? Извольте немедля, завтра же отправляться на ремонт, а то мы с вами по-другому будем разговаривать!»

«Бабушка» медленно отвела взгляд от листка:

— Знаете, чьи это слова? Догадываетесь?.. Это слова Ленина. Ильича... Вы думаете, к вам они не относятся? Да вы же самое дорогое наше имущество,— горячо произнесла она.— Возьмитесь, ребята, за эту дачу. Отправьте на ремонт самых слабых, истощенных, иначе они упадут. И не откладывайте... Я знаю, я уверена, что Владимир Ильич одобрил бы эту «утопию», как некоторые из вас выражаются... Я бы сама туда поехала,— добавила «бабушка» неожиданно,— честное слово, поехала бы...

— А мы вас можем послать,— сказал Луба.— Вы же член Петроградского комитета молодежи!

— И поеду! Только со второй партией... Пусть сначала поедут парни.

Сурыгин встал:

— По вопросу о даче сохраняю особое мнение!

— И сохраняй! Это твое право! — весело сказала «бабушка».— Но при этом будешь выполнять решение большинства. А то, что тебе не удастся его собрать,— ручаюсь. Останешься в подавляющем меньшинстве. Кстати, на организацию дачи я советую поставить Черняка, он как будто рожден для этого дела.— Глаза у нее улыбнулись.— Правда, мы не доспорили с ним по некоторым вопросам, но ничего — отложим на потом...

Назвав кандидатуру Матвея Черняка, «бабушка» и здесь оказалась неотразимо права. Это сразу же внутренне признали члены бюро, даже Иван Сурыгин.

Если уж всерьез пойдет разговор о будущем организаторе дачи, то конечно же это Матвей Черняк — оратор, докладчик, неистовый спорщик, ненасытно жадный пожиратель книг. Все карманы, какие имелись в его распоряжении, были всегда набиты газетами, брошюрами, разного рода выдержками и выписками, которые он раскладывал перед собой на трибуне, как пасьянс. И в ораторском пылу, почти не глядя, он безошибочно находил нужную ему цитату.

Какие только имена не тревожил он в своих речах и докладах! Платон и Маяковский, Колумб и дедушка Крылов, Фома Кампанелла и Джек Лондон, Надсон и Сен-Симон и еще многие, очень многие другие. Глаза его за толстыми стеклами очков светились фанатическим блеском, когда он говорил об ослепительном будущем человечества. Он мечтал о создании молодежных коммун и даже написал примерный устав, о котором «бабушка» сказала, что это типичное «ле-ле» (левый лепет), и из-за этого начался неугасимый спор.

Когда Луба сообщил ему, что ПК намерен открыть дачу в Прикамье и что его прочат в ответственные организаторы, или, как принято говорить, отóрги, Черняк возликовал. Но на заседании бюро, обсуждавшем этот вопрос, его строго предупредили, чтобы он позабыл про свое «ле-ле». Тут речь идет об отдыхе, о поправке, и в первую очередь ему надо проявить хозяйственную сметку и хватку.

— Не залетай за пределы,— сказал ему Луба.— А то, знаешь, есть это у тебя... Стой двумя ногами на земле!

— И без молебнов во имя Фомы и Сéни-Семена,— добавил Сурыгин (имелись в виду Фома Кампанелла и Сен-Симон).

Оторг торжественно обещал, что будет твердо стоять обеими ногами на земле. Порешили, что поездка в Дем не подлежит пока широкой огласке, и Черняк стал готовиться. А готовился он к любому поручению, что называется, капитально.

Устройство дачи было совсем новым делом, не имевшим примеров и образцов, и потребовало подготовки особо тщательной и всесторонней.

За короткое время Черняк переворотил целую библиотечную гору: были тут и справочники, и таблицы, и популярные брошюры, такие, например, как «Флора и фауна средневолжской равнины», «Эксплуатация жилых строений и земельных участков», «По грибы, по ягоды», «Скотовод-любитель», «Полезные советы молодому хозяину и хозяйке».

Были прочитаны и солидные, увесистые тома: «Искусство отдыха» — сочинение д-ра Э. Шолле, «Сто блюд французской кулинарии» Божо и Корбальона. Многие из этих книг Черняк прихватил с собою в Дем.

В дороге ему здорово повезло: удалось втиснуться в

единственный пассажирский вагон и захватить багажник в купе, забитом людьми и мешками.

На багажной полке было тесновато, приходилось стукаться головой в потолок, изобретать всевозможные позы, чтобы пристроить книгу к свету. Но зато здесь, на верхотуре, никто не мешал, не толкался, и оторг тут же погрузился в чтение.

Ни тяжкая вагонная духота, ни хватающий за душу колесный скрежет, ни сложный многоголосый шум нисколечко ему не мешали — он их попросту не замечал. Читал оторг не только глазами, но и как бы всем своим существом: листая страницу за страницей, он то улыбался, то свистел, то иронически хмыкал, то язвительно покашливал. Классовая физиономия д-ра Шолле была ему неоспоримо ясна: книга «Искусство отдыха» написана для тех, кто снимает проценты с капитала: для праздных туристов с тугим кошельком, для богатых завсегдатаев отелей и курортов,— короче говоря, на потребу финансовой буржуазии.

Автор доказывал, что стихия растительной жизни (это выражение всюду выделялось жирным шрифтом) является для человека наиболее естественным состоянием («Км! Гм! Ха!») и что он всегда влечется к ней душою и телом.

«Научно разработанный труд «Искусство отдыха»,— как сообщал в предисловии автор,— поможет читателям уйти в желанную стихию с пользой и удовольствием». Далее следовали главы о том, какого меню нужно придерживаться в зависимости от возраста и комплекции, как прибавлять в весе и как худеть, сколько времени посвящать сну, как ходить, дышать, жевать, и еще множество всяких советов и рекомендаций («Ну что ж, д-р Шолле! Свой предмет вы знаете назубок — тут уж спору нет! Воспользуемся и мы кое-какими из ваших советов — это нам не повредит!»).

Так же основательно были изучены «Сто блюд французской кулинарии». Огрызком карандаша делались пометки на полях, подчеркивались названия блюд, рецепты их изготовления. «Отлично, превосходно! — бормотал Черняк.— Вот именно! Посмотрим, посмотрим, господа!»

Это неясное бормотание, нарочитое покашливание, которые доносились сверху, обеспокоили в конце концов

нижних пассажиров. Какая-то баба, сидевшая на мешках между скамьями, громко сказала, поглядывая на багажник:

— Не иначе слабый на голову! Ночью завалится — всех передавит!

По случайности эти слова достигли ушей верхнего пассажира, отложившего книгу на полминутки. Он засмеялся, сошел с верхотуры и принял участие в общем чаепитии, внеся свою долю: кристаллик сахарина и пару воблин, именуемых в просторечье «карими глазками».

Баба-мешочница прониклась таким уважением к его очкам и ученому виду, что подарила ему половину настоящей сальной свечи. Теперь можно было продолжать чтение и поздним вечером, и ночью.

Везение преследовало Черняка всю дорогу. Происшествия, почти неизбежные в пути, случались с другими поездами, а состав, в котором ехал оторг, благополучно доставил его в Дем. Правда, даже по тем временам этот состав передвигался с исключительной неторопливостью, но зато целиком оправдал известную поговорку: медленно, но верно.

Приехав в Дем, Черняк сразу хотел взяться за дело, но демичи не допустили. На него свалилось такое немыслимое количество жизненных благ, что он потерял способность сопротивляться.

Жил он у Сайтудинова, в большой, дружной семье, где старший брат был секретарем укомола, средний учился на курсах красных командиров, а младший работал по ликбезу. В честь дорогого гостя бабушка приготовляла захватывающе вкусное национальное блюдо «перемеч», поила его молоком, ягодным взваром, а спать его укладывали на старинную перину, взбитую чуть ли не до потолка. «Успеешь,— говорил Сайтудинов-старший.— Подкормить надо, отдыхать надо».

Ему с наивной гордостью показывали новые демские достопримечательности: дом бывшего купеческого собрания, превращенный ныне в «народную академию» (на меньшее демичи не соглашались). На фасаде дома висел огромный плакат, где был изображен плуг революции, перепахивающий старый мир. В одной из комнат «народной академии» разучивали «Интернационал» на гитарах и балалайках. И повсюду, где бы ни побывал

оторг, он вновь убеждался в магически притягательной силе гордого имени Петроград.

Он был почетным гостем на заседании Демского уисполкома на спектакле «Коварство н любовь», поставленном активистами клуба именн Лнбкнехта, на «красной гулянке» молодежи в городском саду.

Он побывал на строительстве новой железнодорожной ветки, на только что пущенном мыловаренном заводе, где работал директором его бывший владелец, на курсах краскомов, в типографии газеты «Демский коммунар».

Поздними вечерами он гулял с демскими ребятами н девчатами по тихим, темным улицам, где акации сугробами насыпали белый пух, и ему с той же наивной гордостью объясняли, что в этих домиках с тускло мерцающими ночниками через полгода загорится «свет неестественный» — электрнческие лампочки.

Дни проходили в небывалой, неслыханной праздности при явном ослаблении воли. Черняка не покидало ощущение вины, недопустнмости такого поведения — ведь он, как говорится, еще палец о палец не ударил.

На пятый день демичн вняли его горячим уверениям, что он уже подкормился, здоров, силен, и быстро сделали все, что нужно было, для прнема дачи, находившейся в ведении коммунхоза. С Сайтудиновым договорились, что питерцы, которые поселятся на даче, первое время — ну месяц, что ли,— не будут ездить в город и принимать гостей.

Дачному оторгу предоставили подводу с возницей, и он поехал принимать жилые строения, земельный участок с садом и огородом, знакомиться с местной флорой и фауной, а также со своим служебным персоналом.

Знакомство состоялось, н служебный персонал был поражен обширными хозяйственными познаниями нового начальника. Ульяна Петровна — будущий повар-эконом — всполошилась не на шутку.

Она много лет служила кухаркой «у господ» — а среди них были и чиновники, н адвокаты, и даже профессор,— но таких блюд, какие называл «приезжий комиссар», не слыхивала н даже не могла их произнести. «Комиссар» пугал ее своим металлическим четким голосом, манерой пристально смотреть сквозь очки, придвигаясь к собеседнику, неожиданной, быстро исчезающей

улыбкой. Было и еще одно тревожное обстоятельство: в комнате, где она проживала с братом, висела божница с негасимой лампадой — еще неизвестно, как взглянет на это «комиссар». Она всерьез подумывала, не уйти ли подальше от греха, и советовалась на этот счет с братом. В отличие от нее, брат Илья сразу сошелся с «комиссаром», называл его по имени-отчеству, рассуждал насчет разных вопросов и в одном разговоре с ним заметил, что они, брат с сестрою, как люди старого закваса, держат иконы. Ответ был в том смысле, что в Советской республике церковь отделена от государства и каждый волен веровать или не веровать.

— Видишь, какое дело! — говорил сестре Илья Петрович.— Ты живешь старым понятием жизни, а надо понимать по новому понятию. Допустим, демский председатель Колязин. Он человек молодой, сила, власть в руках, а видали от него что-нибудь лишнее, зазорное? К нему приходи хоть ночью — он не распалится, не прогонит, а примет тебя, потому что у него один интерес в жизни, одна сердцевина — он в своей работе кипит... И наш такой в точности. У него сердце где? Вложенное в дело! Если ты исполняешь работу как надо — ты ему друг. А нам с тобою что? Мы работаем на совесть, нас понукать не надо!.. Между прочим, он раньше учился на аптекаря, там и глаза спортил...

Прошло недолгое время, и Ульяна Петровна убедилась, как верно угадал «комиссара» ее брат. Работать с ним оказалось легко, даже весело. Каждой хорошей придумке оторг радовался как ребенок, и было приятно видеть, как он поблескивает своими стекляшками и улыбается точно наспех: «Отлично! Превосходно!»

Петрович предложил оборудовать столярную мастерскую, чем несказанно порадовал оторга. «Отличная, превосходная идея! Именно то, что нужно! Мирное, успокаивающее занятие для заполнения досуга!»

Ульяна Петровна, преодолевшая страх перед французской кулинарией, увлеченно обсуждала с «комиссаром» дачное меню на месяц вперед.

Д-р Шолле считал меню «важнейшим компонентом духовно-физической жизни». Он отводил ему место рядом с утренней молитвой. Меню должно с утра западать в душу, и в голову, и в желудок. Дразнить воображение. Возбуждать веселый аппетит на весь день. Это самое

волнующее чтение для тех, кто хочет постичь истинный вкус жизни...

Задача у оторга была сложная. Продукты, которыми он располагал, сильно ограничивали его гастрономические порывы: мясо вяленое, мука ржаная, крупа ячневая и пшенная, загустевшая патока в баклагах, кое-какие овощи с огорода.

Но это его не смутило. Он смело пошел по пути разрушения сложившихся шаблонов, по пути исканий, открытий, новых комбинаций, и не раз Ульяна Петровна глядела на него с испугом: «Да ведь такого с сотворения мира не едали!»

Дача, сад — все преобразилось, засверкало, заблестело, зазеленело, а оторга продолжали томить неотвязные вопросы о том, что же можно сделать еще.

И он многое отдал бы за то, чтобы устроить питерским ребятам такую жизнь, которая и не снилась всем этим денежным воротилам, биржевикам, ростовщикам, банкирам и прочим клиентам д-ра Шолле.

ПИТЕРСКИЕ РЕБЯТА

Когда по районам прошел упорный слух, что медицинское освидетельствование было устроено для отбора кандидатов на дачу, никто не поверил. Решили, что какой-то шутник пустил «утку» — просто так, для смеха.

Но очень скоро невозможный этот слух подтвердился. Свидетельством тому служили вызовы и собеседования с некоторыми из активистов.

И тогда, как и предвидел Луба, пошла «великая буза». Сигнал к ней подал Егор Лодейкин. Его «речуга» в городском клубе перед киносеансом взбудоражила многих. Он клеймил тех, кто выдумывает «дачи для господских мальчиков», особенно теперь, когда питерскому комсомолу передали яхт-клуб со всем имуществом. «Так что же нам делать? — вопрошал оратор.— Разъезжать по дачам или готовить пополнение для рабоче-крестьянского Красного Флота?!»

Великая буза разливалась, как лава. Несколько ячеек вынесли осуждающие резолюции. Слово «дача» склонялось во всех падежах с прибавлениями «буржуазная

отрыжка», «вредная затея». Появились даже сатирические отклики:

Всюду кумушки судачат:
Ну потеха, ну комедь!
«Комсомол» везут на дачу
С приказанием полнеть.

— Дает прикурить братва! — говорил Антон Луба, поправляя упрямый вихор на лбу. И опять было похоже, что он вообще-то доволен таким оборотом дела.

Первую группу составил из тех, чьи фамилии Макароныч пометил жирной птичкой. (Девчат, по совету «бабушки», решили пока что не посылать.)

И тут началось самое трудное. Группа стала растекаться, расползаться, как весенняя льдина. Участники ее проявили небывалую изобретательность: кое-кто застрял в командировках по причинам, к которым не придерешься, другие указали на неоспоримые домашние обстоятельства, о которых раньше не вспоминали, а Егора Лодейкина вдруг отозвали в распоряжение Губвоенкомата, и он оказался за пределами досягаемости.

А из города Дема со всеми «оказиями», какие только подворачивались под руку («на почту надейся, а сам не плошай»), шли от Матвея Черняка пространные письма.

Он сообщал, что все уже готово. Дача роскошная, находится в тихом, уединенном месте, от города семнадцать верст; правда, нет поблизости речки, но, может быть, это и к лучшему; заготовлены продукты, имеется огород и даже собственный повар.

Так почему же не едут черти-мальчики? Ведь лето проходит!

История с дачей явно затягивалась, и ПК вынес решение, гласившее, что назначенные товарищи обязаны сознательно рассматривать свою поправку на даче как выполнение задания и что уклонение от поездки будет расценено как срыв дисциплины РКСМ со всеми вытекающими последствиями.

Каждого из назначенных товарищей пришлось по отдельности вызывать на бюро с применением испытанных средств: «намыливали холку», «снимали стружку», «протирали с песочком», пока назначенный товарищ не усваивал, что деваться некуда: ехать придется...

Когда все было утверждено и записано и все фамилии сделались известны, назначенных товарищей стали

повсюду именовать «дачниками». И «дачники» уже сами захотели уехать поскорее.

Но хлопот с отъездом оказалось немало. Надо было заполучить теплушку у железнодорожного начальства, приспособить ее для дальней поездки, «прицепиться» к составу нужного направления, выхлопотать продовольствие на дорогу, поднатаскать «замов» на время отсутствия.

Чтобы не ходить скопом по всем этим делам, «дачники» выделили из своей среды уполномоченных. Но согласие между уполномоченными не устанавливалось. Они непрестанно пререкались, кому вести разговор с нужным лицом. Нелегко было объясняться насчет такой поездки и произносить слово «дача», застревавшее в горле.

Все же во второй половине июня приготовления благополучно закончились. Погрузили продукты, подарки для демичей, и старый комитетский грузовичок повез «дачников» на вокзал, ныряя в выбоины мостовой и выбираясь из них с натужным ревом.

Товаро-пассажирский дальнего следования стоял чуть ли не в версте от вокзала, на пустынных подъездных путях. Теплушка, третья от паровоза, ожидала своих пассажиров.

Неверная, тряская теплушечная жизнь, предстоявшая «дачникам», была им хорошо знакома — пожалуй, даже лучше, чем оседлая. Среди них уже были ветераны, сражавшиеся под Пулковом и Бугульмой, Ростовом и Кобрином, Архангельском и Ропшей, Курганом и Красной Горкой,— ветераны, чей возраст редко превышал двадцать лет.

Они знали, что такое переброска на сотни верст, поспешные выгрузки и посадки, бессонное ожидание на стоянках, ночи и дни в железном лязге.

В этой жизни не хватало времени для посторонних раздумий, а сейчас его оказалось до странности много, да и сама поездка продолжала казаться невероятной.

Они все еще ожидали, что вот появится запыхавшийся гонец-самокатчик и объявит, что это всего лишь испытание,— тогда часто устраивались самые неожиданные испытания, чтобы выяснить, каков революционный дух бойцов.

Гонцы появились. Но они шли не торопясь. Они как

бы олицетворяли собой две стороны комсомольского бытия: Антон Луба в мирном пиджачке и косоворотке, Иван Сурыгин в твердой военной фуражке, с тяжелой кобурой на боку.

— «Бабушка» посылает привет с приказанием полнеть! — сказал Луба.— Велела по пуду привезти с собой!

Маленький, щупленький Федор Михин, ожидавший посадки вместе с другими «дачниками», пробормотал соседу на ухо:

— Эх, сойти бы с этого дела!

Луба (как только он услышал? Ветром отнесло, что ли?) погрозил Федору кулаком:

— Я тебе сойду! Только попробуй!.. Головы будем откручивать!

С этим напутствием и отправились питерские ребята на дачу.

О поезде, который их вез, нельзя было сказать, что он мчится вдаль, жадно глотая версты и мерно постукивая колесами, как любили писать в книгах еще недавно.

Он полз, точно ощупывая рельсы и боясь оступиться, застревая вдруг на мучительно долгие часы на каком-нибудь полустанке, и тащился снова, дребезжа всеми своими разболтанными потрохами.

Пассажиры такого поезда — точно жильцы, поселившиеся в одном доме; многие уже свели знакомство на длинных стоянках, на топливных самозаготовках, в очередях за кипятком и совсем по-соседски захаживают друг к другу «в гости».

Пожалуй, больше других привлекала гостей теплушка номер три, считая от паровоза. О ней говорили так: «Сходим к питерским ребятам», «А это у питерских ребят надо спросить».

К питерским ребятам шли со всего состава — потолковать насчет «текущего момента», разжиться газеткой. Настойчиво угощали всем, чем богат был тогдашний пассажир: сушеной рыбкой, солдатскими галетами, подсолнухами, какой-нибудь доморощенной заваркой для чаепития.

— Вы же там голодуете, знаем! Вон вы какие отощавшие...

А мимо поезда медлительно, как бы давая оглядеть себя до самого края, проплывала истерзанная войною земля: одинокие трубы между развалинами домов,

кладбища разбитых паровозов, искореженные остовы сгоревших вагонов, взорванные водокачки, вокзалы, зияющие пробоинами. И на каждом вершке свободного пространства нагло прорастали, лезли вверх чертополох, бурьян — неизменные спутники разора и опустошения.

У питерских ребят была с собой карта бывшей Российской империи — старая, склеенная по сгибам. Сначала они частенько раскладывали ее на полу, отыскивая Дем — едва приметную точечку, похожую на мушиный след,— прикидывали, когда доберутся. Но дорога затянулась, и ни один железнодорожный начальник, даже сам наркомпуть, не взялся бы определить день их прибытия.

И вдруг оказалось, что они все-таки подъезжают к Дему.

— Как минуем Шипиус, так и ваша будет,— сказал старик волжанин, угощавший питерских ребят доморощенным табачком-крепачком.— А ветерок чуете? Это с Камы...

В раскрытые двери теплушки тянуло откуда-то издалека широким, свободным дыханием. И вот придвинулась вплотную большая рубленая изба — демский вокзал. На вывеске после слова «Дем» проступил замазанный краской твердый знак. По обе стороны полотна — домики с заборчиками, садики, колодезные журавли. Тихая, мирная картинка.

На бревенчатой платформе — негустая толпа. Из нее вышел узкоплечий паренек в застиранной гимнастерке, в стальных очках, точно вросших ему в переносицу. Увидев его, питерские ребята замахали кепками, фуражками, буденовками. Теперь можно было уже не сомневаться, что окончилось томительное путешествие: Матвей Черняк налицо.

— Сколько же можно ждать, черти-мальчики? — спрашивал он через минуту, стиснутый со всех сторон.— Живу на станции, нанимаю подводу, плачу за простой, баню держу под паром. Сплошные убытки... А это демичи вас встречают. А это товарищ Сайтудинов, главный укомол. Помните, приезжал в Питер?

Приземистый, загорелый до черноты Сайтудинов широко улыбался крупными, сверкающими зубами:

— А я тебя помню! И тебя помню! И всех помню!

Теперь вы нам гости... Отдыхать надо. Очень, очень хорошо надо отдыхать.

Рядом с демичами питерские ребята казались какими-то особенно худыми и бледными — точно картофельные ростки, пробившиеся в темноте.

— Ну, подождите! — сказал Черняк, и в голосе его слышалась даже некоторая угроза.— Вы у меня узнаете... Вот я вас!

Стали выгружать подарки.

— Не позволяем! — забеспокоился Сайтудинов, когда кое-кто из питерских взялся за увесистые ящики.— Очень просим, не надо подымать!

О подарках, какие привезли питерские ребята, можно было лишь мечтать. Здесь был волшебный фонарь с диапозитивами «Строение вселенной», комплект духовых инструментов, листовки к Октябрю и Маю, кумач для лозунгов и плакатов.

— Ай, какая теперь пойдет наша работа,— счастливо улыбался Сайтудинов, заглядывая в широкое горло медного баса.

Неподалеку от платформы стояло удивительное сооружение на колесах, запряженное двумя мохнатыми крестьянскими лошадками.

— Первая половина девятнадцатого века! — сказал Черняк тоном гида.— Пожарная линейка. Возила сразу всю пожарную часть. Немного трясет и поскрипывает, но зато все поместимся.

— Поправляйтесь очень хорошо,— напутствовал Сайтудинов,— потом мы к вам, вы к нам... Такой сделаем вечер спайка!

Мест на линейке действительно хватило всем, и было удобно сидеть на скамьях, разделенных длинной и высокой спинкой. Но когда исторический экипаж тронулся в путь, все схватились за уши.

Трудно было поверить, что обыкновенное колесо может издавать такие раздирающие вопли. Черняк, которому не терпелось порасспросить ребят о Питере, очень быстро охрип, стараясь перекричать эту чудовищную музыку.

Пришлось ехать молча. Зато было на что полюбоваться вокруг. Наверно, о таких вот местах и сложены

песни, где говорится о неоглядном русском просторе, о зеленых полях без конца и без края. А там, где поля сливались с небом, закатывалось неправдоподобно большое солнце, и сухая пыль на дороге казалась розовой.

ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ

— Вот она, глядите!

Линейка остановилась. С дороги, некруто уходившей вверх, казалось, что дача стоит на горе. Ярый закат плавился в цветных стеклах террасы, и было похоже, что в деревьях сада зажгли красные, желтые, синие фонарики.

Отпустили линейку, пошли в гору. Вблизи дача оказалась большим, основательным домом в два этажа. Петушок на крыше повернулся несколько раз и что-то весело проскрипел, точно приветствуя гостей.

У крыльца их встретила маленькая, кругленькая, седая женщина с уютными морщинками, какая-то очень знакомая. Таких румяных бабусь рисуют на открытках: сидит на табуретке, вяжет что-то, а у ног ее играет котенок клубком шерсти. Рядом с ней стоял плотный мужчина с окладистой бородой и огромными жилистыми ручищами.

— Ульяна Петровна, наш главный повар и эконом,— представил Черняк.— Илья Петрович, главный интендант, садовник, огородник, предсказатель погоды и прочая, и прочая, и прочая. А вместе они Петровичи. Брат и сестра.

Петровичи застенчиво поклонились.

— А мы вас заждались! — сказала Ульяна Петровна, сияя уютными морщинками.

— Да-а, ожидание было длительным,— подтвердил Черняк, оглядывая «дачников». Поездка на линейке, как видно, окончательно их уморила. Они стояли пыльные, усталые, с немудрящими пожитками в руках.

Черняк улыбнулся своей неожиданной улыбкой, точно любуясь на них. Да так оно и было: ведь он уже видел их другими, совсем другими.

— А теперь, ребятушки, никуда не заходя, прямехонько в баню. Видите, чудный буржуазный терем стоит? Это и есть баня!

Затейливо сложенная кирпичная баня и в самом деле походила на терем, а в просторном предбаннике, оборудованном скамьями и столом, можно было принимать гостей.

— И еще одно дело, братва,— сказал Черняк.— Доверьте мне на хранение ваши пушечки, патроны и все иное военное снаряжение. Мы его уберем в кладовую и возвратим в целости и сохранности...

Сказав это, Черняк слегка наклонил голову, как бы приготовясь принять на себя неизбежный отпор. Он знал наперед, как могут встретить его предложение эти парни, не расстававшиеся со своими «пушечками» даже во сне.

— Это что, в плен попали?!

— Сдача оружия?!

Черняк терпеливо ждал.

— Друзья! — произнес он, когда шум несколько поутих.— Взгляните на эти пышные деревья в саду...

Все невольно повернулись к окну.

— На эти зеленые деревья,— продолжал Черняк,— и на голубые небеса. Здесь вы будете проживать в мире, покое и довольстве, а ваша привычка держать шпалеры под головой тут ни к чему. Даже мухи у нас поголовно истреблены неутомимым Петровичем... Так давайте же разрядим наши огнестрельные орудия и сложим их в ящик, который стоит перед вами...

Как и предвидел Черняк, дело закончилось шутками. «Мотька хоть самого дьявола заговорит».

Петрович с опаской поглядывал на происходящее. Рядом с ним щелкали курки, барабаны, предохранители. Ящик наполнялся револьверами и пистолетами всевозможных видов и размеров. Были тут тяжелые офицерские маузеры, воронсные наганы, парабеллумы, изящные браунинги, старые «смит-вессоны», которыми пользовались еще во времена Жюля Верна и Майн Рида...

А потом была баня. Она осталась незабываемой.

Надо было очень долго жить в опустевшем, насквозь промерзшем городе, где стены домов не оттаивали даже летом, жить почти без света, без топлива, чтобы полностью оценить эту баню — жаркую до слез, терпко пахнущую каленым березовым листом.

Невозможно было остановиться, не было сил прекратить это блаженное истязание горячим веником,

Ожесточенно стегали друг друга, покрикивали: «А ну, еще!», «Дай покрепче!» А Петрович все поддавал пару, окатывая крутым кипятком огнедышащие печные своды.

Наконец потянулись один за другим в предбанник, где из открытых окошек веяло вечерней прохладой.

Лишь Федор Михин не мог расстаться с этой волшебной, невиданной им деревенской баней. Он возлежал на полке у самого потолка, охваченный сухим, томительным жаром, и только стонал от наслаждения.

— Федя, живой? — кричали ему из предбанника.

— Братцы, никак не уйти... Первый раз за всю житуху!

Петрович, исчезавший на некоторое время, вернулся, таща огромный тюк.

— Матвей Семеныч велели, чтоб старой одежки не надевать!

«Дачники» не сразу постигли, что Матвей Семеныч и ихний Мотя Черняк — одно и то же лицо. До сих пор он еще никогда не фигурировал в таком наименовании. А когда уразумели это, Петрович объяснил, что снятая ими одежка будет выстирана, зачинена и отглажена в самое короткое время, а пока, на замен, есть другая, с барского плеча — примеряйте, кому что гоже...

Когда Черняк, отвлекшийся хозяйственными делами, подошел к банному терему, оттуда доносился громовой хохот. Можно было подумать со стороны, что в тереме идет пир горой. Зрелище, открывшееся в предбаннике, поразило его.

Долговязый Петро Дубонос в широкополой соломенной шляпе, в сиреневом халате, не достигавшем колен, отплясывал какой-то дикий, фантастический танец. Под стать ему были и зрители, шумно выражавшие свое одобрение.

В глазах рябило при виде голубых и кремовых пижам, бархатных домашних курточек, полосатых фрачных брюк, твердых крахмальных рубашек с выпуклыми, лебедиными грудями. У некоторых красовались галстуки на голых шеях. Даже зонтики, трости и бинокль-лорнет притащил старательный Петрович.

Через некоторое время удивительное, маскарадное шествие направилось к даче. И едва переступили «дачники» порог, как пахнуло на них крепким, щемящим нутро мясным наваром, сладостным ароматом свежеис-

печенного хлеба. И опять встретила их Ульяна Петровна и, сияя морщинками, произнесла по-старинному:

— Кушать пожалуйте!

Рядом с передней, где стояли часы-шкаф и чучело медведя с подносом в лапах, находилась столовая. Окна в комнате были задернуты шторами. Над обеденным столом висела тяжелая керосиновая лампа под абажуром. Поблескивали белизной тарелки. Посредине стола выстроились плетеные корзиночки с хлебом: не питерские вымеренные осьмухи лежали в них, а пышные ломти настоящего «аржаного».

«Дачники» даже притихли при виде такого убранства и рассаживались с небывалой чинностью. Как и подобает руководящему лицу, Матвей Черняк занял место во главе стола. Он был очень доволен произведенным эффектом. А сколько еще впереди!

Тут же были назначены дежурные по кухне. Они принесли начищенный до нестерпимого блеска бачок и водрузили его на табурет возле стола. Появилась Ульяна Петровна в белом чепце и фартуке, с черпаком наготове.

Стол ожил, зазвякал ложками. Все дальнейшее походило на горячую поспешную уборку — никаких разговоров, все работают молча. С тем же проворством дежурные принесли второе. Корзиночки с хлебом опустели.

Ульяна Петровна немножко волновалась и, пока гости ели, все выглядывала из коридорчика, соединявшего кухню со столовой. Это был, так сказать, ее дебют — ведь ей не доводилось еще кормить таких гостей. И она сразу же могла убедиться в своем оглушительном успехе: всё подчистую, а посуду хоть не мой...

Несколько раз она бросала вопрошающие взгляды на своего начальника. Значение этих взглядов было ему понятно, но он отрицательно покачивал головой. Речь шла о добавках, которые он считал преждевременными.

— Конечно, вы могли бы все повторить сначала,— сказал он, поднимаясь из-за стола,— но не будем так уж сразу наваливаться. Надеюсь, что объяснений не требуется... А сейчас давайте знакомиться с нашей тихой обителью...

Слова о тихой обители, частенько произносимые по разным поводам, прозвучали здесь удивительно к мес-

ту. Они точно придуманы были для этих спокойных комнат со светлыми шторами, для лесенок с ковриками, заглушающими шаги, для всяческих ниш, диванчиков, низеньких мягких кресел.

— А тут ваша спальня,— сказал Черняк, открывая дверь на стеклянную галерею, которая тянулась через второй этаж.

Двадцать туго набитых матрацев расположились на полу в строгом порядке, застеленные ослепляюще белыми простынями.

— Подкрахмалены! — небрежно заметил Черняк.— Вообще, я думаю, вам тут понравится... А теперь, согласно правилам внутреннего распорядка, пожелаю вам спокойной ночи.

НОЧЬ ОТОРГА

Часы-шкаф старчески закашлялись и точно в раздумье отбили три тягучих удара. Время позднее, но оторг еще не ложился. Сегодня у него особый день, особая ночь. Он испытал во всей полноте одну из самых больших радостей, какая может выпасть человеку: то, что недавно было только лишь мыслью, мечтой, воплотилось в непреложный факт.

Дача есть, дача существует.

Сейчас здесь ночь, тишина. Как будто ничего и не произошло. Так же, как и вчера, поскрипывают половицы, осторожно тикают часы, слышен неясный шорох за обоями. И все-таки что-то иное появилось тут сегодня. По каким-то неуловимым признакам чувствуется, что этот дом заселен, обитаем.

Поднявшись наверх с лампой в руке, Черняк на цыпочках подошел к спальне, приоткрыл дверь.

Напрасная предосторожность. Пожалуй, ничто не смогло бы прервать этот доблестный, этот беззаветный сон — хоть откалывай гопака, стуча подкованными сапожищами, стреляй из пистолета, кричи «ура» во всю силу легких. Вот это и называется — спят как убитые.

И вдруг кто-то закричал рядом:

— Шкура... гад... не уйдешь!

Черняк вздрогнул от неожиданности, посветил перед собою лампой.

С крайнего матраца поднялся Евсей Кажаринов, казалось еще более худой и темнолицый, чем всегда: губы у него вздрагивали, пальцы сжимались в кулак.

— Ты что, Евсей? — вполголоса спросил Черняк.

Некоторое время Кажаринов смотрел на него в упор, точно обдумывая ответ, потом сразу повалился на матрац и задышал глубоко, ровно.

Черняк постоял в задумчивости: да, нескоро еще, наверно, перестанут тревожить их сны, сплетенные из недавней яви.

Проходя на обратном пути мимо столовой, он задержался у двери, высоко поднял лампу. Свет от нее упал на застекленную рамку, висевшую на гвоздике рядом с косяком.

Под стеклом белел бумажный лист, исписанный короткими, рублеными строчками, похожими на стихи современного поэта-футуриста. Но это были не стихи, а сугубо житейская проза, над которой, впрочем, работали с кремневым упорством. Немало редакций выдержала она, прежде чем явиться в нынешнем своем виде.

Это было первое меню, и обещало оно вот что:

ЗАВТРАК

Крутоны-орлеан.
Кофе желудевый с патокой.

ОБЕД

Суп-жюльен.
Жиго по-министерски.
Шарлот марципан.

ЧАЙ

Черносмородиновый
с бобешами-оливье.

УЖИН

Пом-де-тер со шкварками.
Чай.
Кофе.

Оторг постоял, пристально глядя на поблескивающее стекло в рамке, и вдруг сделал несколько танцевальных па — что-то вроде вальса, потом, испуганно оглядевшись, направился к себе в «кабинет».

В крошечной комнатке под лестницей хитро раз-

местились железная кровать, стол, стул, шкафчик и даже осталось место для двух-трех шагов. Медленно, точно смакуя каждое движение, оторг сел за стол, вынул из кармана коробку, достал папиросу и проделал с ней весь ритуал, столь приятный сердцу курильщика: покрутил в пальцах табачное содержимое, постучал, примял мундштук.

Затем в руке у него появился коробок спичек. Прежде чем вспыхнуть, спичка долго тлела таинственным синим огнем. В комнатенке резко запахло серой, точно здесь взорвали детскую шутиху.

Но и это доставило оторгу несомненное удовольствие. Папиросы и спички были из Питера; к тому же в демских местах эти предметы являлись большой редкостью. Тут курили только самосад, а огонь добывали древним способом — при помощи кресала.

Так сидел он некоторое время, бездумно покуривая, пуская дым колечками, потом взял со стола распечатанный конверт. Это было письмо от Лубы, переданное ему ребятами. Он успел лишь наспех пробежать его в суматохе дня.

Письмо состояло из красочного описания «великой бузы» и требований «держать эту публику покрепче». Чтобы не шлялась по окрестностям и в город. И ни в какие дела не ввязывалась. Пусть сдадут свой арсенал.

В конце письма была угроза: «Головы будем откручивать!» Тут же, в конверте, находился лист бумаги, испещренный фантастическими каракулями. Больше всего они походили на неразгаданную письменность какого-то исчезнувшего народа. И если бы оторг, как бывший аптекарский ученик, не имел опыта по части расшифровки докторских почерков, ему, вероятно, не удалось бы прочесть этот документ, составленный Макаронычем.

Тут содержались подробные сведения о «дачниках»: рост, вес, объем легких, состояние мышечной и нервной системы, степень истощения. И всем двадцати был прописан покой, длительный сон, постоянное пребывание на свежем воздухе и отсутствие каких бы то ни было волнений.

Оторг несколько раз перечитал список «дачников» — сверху вниз, снизу вверх. Пожалуй, с каждым из них он съел пуд соли за эти годы, благо ее было в Питере

больше, чем хлеба. Все они разные — по наружности, по сложению, по характеру, по грамотности, по жизненному опыту,— по всему разные. Но есть в них и удивительная общность, какая встречается у членов одной семьи: они не знают, что значит жить для себя.

А в окно уже заглядывал рассвет, и фитиль в лампе стал потрескивать и подмигивать. Оторг взвесил ее в руке — на сколько еще хватит керосина. Надо, конечно, перехватить несколько часов до подъема, но есть еще одно дельце, которое он отложил напоследок, как лакомка откладывает лучший кусочек.

Придвинув стул с лампою поближе к кровати, он разделся, лег и снял газету с пачки, лежавшей на столе.

Питерская «Смена». Милый глазам и сердцу заголовок, знакомая серо-желтая бумага с глубоко оттиснутым подслеповатым шрифтом.

Ребята привезли все пропущенные им номера, и, чтобы растянуть удовольствие, он решил прочитывать только по одной газете на сон грядущий.

МЕЧТА О ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

В девять часов утра по всем дачным комнатам, по всем коридорчикам и закоулкам разносились грузные, рокочущие звуки: это Петрович стучал железякой по медному тазу, висевшему в передней.

Подъем!

Однако подъем вовсе не означал, что надо тут же вскакивать с постелей. Наоборот, после доброго сна предписывалось потянуться, поваляться, понежиться, думая только о приятном: вот начинается хороший день; травка зеленеет, солнышко блестит; уютно посапывает самовар, ожидая к завтраку...

Такие наставления были даны оторгом в первой гигиенической беседе с «дачниками». Он сурово отметил тех, кто вскакивает, как будто приложили горячую припарку, и в заключение беседы пообещал: «Ничего, ничего, я обучу вас нежиться!»

Зато успех меню превзошел, как говорится, все ожидания. У дверей в столовую, где оно висело, становилось

тесновато еще задолго до завтрака. Меню пылко обсуждали, высказывались различные догадки, предположения, возникали даже споры.

Напряжение спадало лишь за столом, когда Ульяна Петровна раскладывала по тарелкам загадочное блюдо. И никто не бывал разочарован, если «крутоны-орлеан» оказывались ячневыми битками, а «жиго по-министерски» — кусочками вяленого мяса,— все только тянулись за прибавкой.

Позавтракав, «дачники» шли в сад.

Сад был дикий, запущенный. Он спускался широкими ступенями к дороге. За нею тянулись нехоженые поля, а еще дальше — сказочно красивая белоствольная роща.

Но «дачников» не манили к себе эти зеленые просторы. Никуда не хотелось идти, не хотелось двигаться. Только одно всепоглощающее желание, или, как выразился один из «дачников», одна мечта владела ими с утра: мечта о горизонтальном положении.

Лечь на прогретую солнцем траву, закрыть глаза и все-таки видеть сквозь зажмуренные веки трепетание солнечных бликов, а потом, незаметно для себя, уплывать в легкий сон.

Это желание возникало независимо от их воли. Это был счет, который предъявлял организм за все: за долгое, непомерное напряжение, за ночи без сна, за недоедание, за перерасход жизненных сил.

Для Черняка не было отраднее зрелища, чем эти неподвижные фигуры, вкушающие сон на лоне природы. Он как бы воочию наблюдал сокровенные процессы, происходившие в них сейчас. Он точно видел каким-то особым зрением, как завязывается в них жирок, как по всем жилочкам и тканям расходятся благодетельные, животворные соки.

К полудню «дачники» начинали шевелиться, хотя никто их не беспокоил. Пробуждал требовательный, настойчивый аппетит. Слишком долго не давали ему потачки, укрощали его, заставляли приспосабливаться к обстоятельствам, а теперь, выпущенный на свободу, он самовластно заявлял о себе.

«Дачники» стягивались к дому, а до обеда оставался еще час, а то и больше. Не хотелось ни шутить, ни разговаривать, у всех было такое ощущение, как будто они

и не завтракали. И они бродили по аллейкам, между газонов и клумб, ухоженных Петровичем, рассматривали себя в радужных садовых шарах, стараясь как-нибудь скоротать время.

Каждый завтрак, каждый обед и ужин казались пиршеством. Хлеб вызывал неутолимо алчное желание. Его ели после сладкого, уносили с собой в сад и в спальню. И едва пиршество заканчивалось, снова охватывала всех мечта о горизонтальном положении.

Только Дубоноса видели в эти сонно-ленивые минуты словно бы хмурым, озабоченным. Он будто вслушивался в какие-то свои глубоко потаенные мысли, потом решительно направлялся к Ульяне Петровне на кухню. Начиналась «чистка котла».

Глядя, как он орудует ножом и ложкой, отдирая остатки присохшей каши и отправляя их в рот, она всплескивала руками:

— Господи, воля твоя! Да неужто опять не наелся?

Медленно двигая челюстями, которые могли бы, наверно, перетереть железную проволоку, Дубонос объяснял ей, что еще при Петре Великом солдату его роста выдавали двойной паек: в нем, слава богу, сажень без малого.

После обеда, согласно правилам внутреннего распорядка, «дачники» должны были пребывать в «пассивном бодрствовании». Д-р Э. Шолле утверждал, что спать в послеобеденное время не рекомендуется: «Состояние пассивного бодрствования или, иначе говоря, спокойное лежание с расслабленными мышцами всего тела способствует обмену веществ и наилучшему усвоению принятой пищи».

Оторг самолично следил за неукоснительным выполнением этой заповеди, вдруг наведываясь в спальню, где огрузневшие после обеда «дачники» боролись с одолевающей их дремотой.

Но не все выходили победителями из этой титанической схватки с Морфеем, и среди слабых духом почти всегда оказывался все тот же Дубонос. И он боролся, и он противился изо всех сил: дергал себя за нос, за ухо, таращил глаза, но сон наваливался, как медведь, и не было силы стряхнуть его.

Когда храп с его сенника становился слишком уж громогласным, кто-нибудь из соседей давал ему хороше-

го тумака. Томный, похожий на разнежившуюся акулу, Дубонос со вкусом зевал и говорил мечтательно: «А теперь, господа офицеры, не вредно было бы и перекусить! Сегодня, кажись, бобешки с оливьешками к чаю!» Если в спальне неожиданно появлялся оторг, все старательно показывали, что они «пассивно бодрствуют». Как-то, подойдя к двери, Черняк услышал негромкий предостерегающий возглас: «Эй, полундра на бакс!»

Оторг усмехнулся: учуяли его появление и приводят в чувство кого-то из «задрыхших». Что ж, Луба должен быть доволен такой постановкой. Требование «держать эту публику покрепче» выполняется.

АЛЬБОМ В САФЬЯНОВОМ ПЕРЕПЛЕТЕ

В шкафчике, где оторг хранил свои хозяйственные бумаги, лежала на отдельной полке роскошная книга-альбом — наследство от бывших хозяев дачи. На ее сафьяновом переплете были оттиснуты двуглавые орлы с коронами, нетронутые страницы отливали перламутровым блеском. Надо думать, предназначалась она для высокоторжественных целей — может быть, для од в честь царствующего дома, для описания банкетов, для чувствительных стихов. А теперь, по великой иронии исторических судеб, ее гладкие веленевые листы заполнялись беглыми записями оторга:

«...Ульяна Петровна все не могла успокоиться, что не испекла пирог к приезду ребят Чего-то там у нее не хватало для теста. Сегодня выполнила свое намерение. К чаю был пирог с кашей (сладкое пшено). Этот «пережиток капитализма», как выразился Серега Лукин, ребята созерцали с восторгом. А Дубонос заявил, что один берется уничтожить этот пережиток до основания и даже с основанием. Ульянушка и ахнуть не успела, как пирог уже усидели. А она еще сокрушалась, что начинка не та и что печь пришлось не из крупчатки, а из серой муки...»

«...У ребят еще нескоро наступит насыщение. Это я знаю по себе: брюхо полное, больше некуда, а все равно сосет под ложечкой. Жаль, что никто не бросает курить (в том числе и я, поэтому и не могу вести соответствующую агитацию; здесь обязательно требуется личный пример)...»

«...Петровичи держат курицу с цыплятами. Кормить их — любимое занятие ребят. Все как-то позабыли, что на свете существуют куры, а Локотков признался, что не знает, как обращаться к курице. Позвал ее «кс-кс-кс». Смеху было. Осип Кощеев объяснил, что надо «цып-цып-цып». Вспомнили, что вообще давненько не видывали никакой живности. В Петрограде уже года два как вывелись и голуби, и воробьи, и кошки, и собаки. Нечем кормиться около людей. Даже такая пакость, как мыши и крысы, куда-то сгинула...»

«...Наши ходовые выражения и обороты:

— Что полезло, то и полезно.

— Едимым хлебом жив человек (особенно Ульянушкиной выпечки).

— Лучше переесть, чем недоспать.

— Лучше животом покачаться, чем добру оставаться.

Исполняется также хоровая песня «Люблю повеселиться, а главное, поспать!» Сочиняется новое «Евангелие от Матфея» (имеюсь в виду я)».

«...Наша Ульянушка подала идейку: «Что вы все лежите? Сходили бы в рощу по грибы. Ягода нынче не уродилась, а грибов много. И время поспело». Пообещала испечь пирог с грибами, изготовить грибной соус. От этих разговорчиков, конечно, слюнки потекли.

Ходили Серега Лукин, Саша Проконен и Дятлов. В нашей дачной летописи, безусловно, сохранится этот поход.

Ребята вернулись, задыхаясь от восторга,— притащили по корзине грибов. Ульянушка давай их выхвалять: «Вот молодцы-то». А когда стала разбирать, только ахнула: набрали так называемых ложных грибов

и всяких поганых. Теперь у нас говорят: «Собирали — веселились, разобрали — прослезились».

Но это происшествие не означает, что мы на этом поставили крест. Сбор грибов — идея правильная. Как известно, по своей питательности они не уступают рыбе, а грибной отвар так же способствует выделению желудочного сока, как и мясной. Они могут быть заметным подспорьем. В случае успеха наше меню пополнится таким, например, блюдом, как «буше-паризьен». Без грибов приготовление его невозможно».

«...Сегодня первый раз была плохая погода. Выглядело все по-питерски: небо серое, дождик моросит без перерыва, стекла плачут. Сразу после обеда зажгли лампу. Петрович по известным ему приметам утверждает, что, во-первых, дождик не больше чем на сутки, а во-вторых — он грибной.

Ребята домашничали. Заинтересовались, есть ли на даче книги. (Впервые! Сей фактик знаменателен!) Петрович принес с чердака ящик. В нем оказались сотни три выпусков похождений сыщиков: Нат Пинкертон, Ник Картер и прочие. И это все. Других книг тут не водилось.

В связи с этим возник интерес к бывшим дачевладельцам. После чаю Петровичи рассказывали в два голоса про своего бывшего барина. Адвокат. Вел купческие дела в волжских городах (защищал денежные интересы толстосумов).

При этом сам загребал тысячи. Дачу занимал один, жил в ней не больше двух-трех месяцев в году — отдыхал, по его словам, «от проклятых купчишек».

Отдых заключался в том, что целыми днями бродил по комнатам во фраке поверх белья, читал нат-пинкертонов, задрав ноги на диване. При этом все время прикладывался к бутылкам. Ульянушка готовила на него как на пятерых. В 18-м этот субъект, ясное дело, смылся за границу. Выплатил Петровичам жалованье царскими деньгами, уверив их, что эти деньги цены не потеряют, а совзнаками будут топить печи (!!!). За «верную службу», за сохранность дачи и имущества, «когда вернется», обещал «вознаградить сторицей» (выяснить, кстати, что такое «сторица»). Петровичи дачу сохранили, но для других хозяев.

Ульянушка призналась, что все еще держит пачку николаевских кредиток: рука не подымается выбросить или уничтожить — все-таки деньги. Конечно, у нее нет никаких задних мыслей и расчетов на реставрацию рухнувшего царского самодержавия (косность сознания)».

«...А ребята поправляются!!! Тут можно сказать, что «факт на лице». Коля Филатов как-то неожиданно обзавелся заметными щечками, и даже походочка у него изменилась. Да и прочая братва почти вся округлилась и загорела...»

«...Петрович открыл для желающих столярную мастерскую.

Открытие прошло незаметно. Интереса к нему не наблюдается. А вот предстоящее вскорости взвешивание вызывает интерес, да еще какой! Всем не терпится узнать, кто сколько прибавил в весе.

Ты смотри-ка, а? Захватила стихия растительной жизни!

Мусье, или герр, или сэр, или как вас там называют, одним словом, господин Шолле! Я вас одобрительно похлопываю по плечу...»

ДЕНЬ ВЕСЕЛЫЙ, ДЕНЬ БЕСПОКОЙНЫЙ

Незадолго до подъема Петрович вытащил из кладовой весы, гири, принес столик и стул. Со стороны можно было подумать, что на зеленой площадке перед дачей готовится состязание атлетов-гиревиков.

Черняк, подобно арбитру, занял место за столиком. Событие, которого ждали с таким нетерпением, наступило. Кряхтела площадка весов, стучали гири.

— Три пуд осьмнадцать фунт! — лихо выкрикивал Петрович.— Следующий, становись!

Оторг тут же производил подсчет (сведения, присланные Макаронычем, лежали перед глазами) и объявлял цифру прибавки в весе. «Отлично, превосходно»,— приговаривал он, записывая новые данные в тетрадку.

Героем этого утра стал Коля Филатов, отрастивший

себе пухленькие щечки: двадцать два фунта за пятнадцать дней.

Когда на весы взгромоздился Дубонос, все затихло вокруг, как бывает перед трудным цирковым номером.

Всем было известно, что с некоторых пор Дубоноса охватило страстное желание поправиться. Не раз наблюдали, как он разглядывал себя в осколок зеркала, натягивал кожу на ребрах — не пополнел ли?

Подсчет установил, что Дубонос остается при своих: сколько было — столько и есть.

— Не может быть,— сказал он упавшим голосом.— Машина врет!

— А чего ей врать, она не человек! — назидательно ответил Петрович.— Не веришь — становись заново.

Повторное бряцание гирями подтвердило первый результат, и Дубонос с отчаянным лицом направился к дальней скамейке.

После церемонии взвешивания состоялась очередная гигиеническая беседа оторга.

Случай с Дубоносом был отмечен им как весьма поучительный. Нельзя, конечно, скидывать со счетов почти три аршина роста. Чтобы упитать такую махину, требуется более длительное время. Но и немало тут собственной вины Петро Дубоноса, не соблюдающего правила о медленном пережевывании пищи. Он глотает ее, как слон. (Громкий хохот присутствующих.)

Зато о Коле Филатове оторг говорил восторженно, приписывая его успех неуклонному выполнению дачного режима.

— Вы только представьте себе этот кусочек в двадцать два фунта! — с жаром восклицал он.— И ведь это не предел!

— Да-а, кусочек славный,— протянул Евсей Кажаринов, сидевший на траве, подкорчив ноги.— Двадцать два фунта за две недели! А через месяц пуд нарастет?! Куда же это поместится?

Оторг успокоительно поднял руку:

— Найдется куда. Кожные покровы человека имеют способность растягиваться. Так что ты, Евсей, не беспокойся!

— Да я не о том беспокоюсь.— Кажаринов размял в пальцах окурок цигарки.— Вернемся в Питер, не узнают, пожалуй, кто мы есть — свиньи или члены

РКСМ... Ходить нам каково будет среди питерских ребят?!

Слова эти были произнесены совсем тихо, но почему-то все услышали их и повернулись к говорившему.

У Черняка холодно блеснули глаза за стеклами очков:

— И об этом не беспокойся, товарищ дорогой. Лишь бы внутри у тебя не завелось свинство. А то, что снаружи нарастет,— останется про запас. Пригодится. Пока толстый похудеет — худой сдохнет! Слыхал такую поговорку?

Беседа была прервана ударом в медный таз, и все отправились завтракать.

Все шло по заведенному порядку. После завтрака «дачники» разбрелись по своим излюбленным уголкам, а Черняк пошел к себе и впервые прилег днем на кровать.

Что, собственно, случилось? Всего лишь маленькая словесная перепалка с Евсеем Кажариновым. И кажется, отвечено ему было неплохо, если судить по лицам ребят. Засмеялись как будто одобрительно. Но все же над этим фактом следует задуматься: не трещинка ли это в «стихии растительной жизни»? Нельзя дать ей разрастись. Немедленно принять меры. В ближайшие же дни съездить в Дем. Привезти газетку «Демский коммунар» за последнее время, скромненько ознакомить с текущими событиями. Пригласить демичей в гости, устроить вечер спайки, как договорено с Сайтудиновым. Попросить Ульянушку сготовить что-нибудь поторжественнее. Выяснить в Деме виды на «оказию» и не откладывать коллективного письма в Питер... Разве я не понимаю вас, черти-мальчики? Но от этого мне не легче...

Так размышлял оторг, прикуривая одну цигарку от другой. И еще не успел он додумать всего, как произошло новое событие: за обеденным столом пустовали два места — Петро Дубоноса и Осипа Кощеева.

— Тем хуже для них! — громко сказал оторг, когда обед закончился.— Никому не позволено нарушать установленный порядок!

«Дачники» удалились в спальню для проведения «пассивного бодрствования», а Черняк то шагал по столовой, то останавливался у окна и барабанил по стеклу. Имеется безусловный пробел в правилах внутреннего распорядка. Часть карательная не содержит

для нарушителей ничего, кроме декларативного заявления о мерах «со всеми вытекающими последствиями». Это выглядит столь же неопределенно, как обещание Антона Лубы: «Головы будем откручивать!» Звучит грозно, но что в действии? А ведь подобный случай нельзя оставлять без внимания...

Расстроенная Ульяна Петровна сообщила оторгу, что Дубонос и Кощеев заходили на кухню после завтрака и предупредили ее, чтобы она готовилась к «суприезу»: сегодня на обед должны быть жареные грибы, которые они наберут. Кощеев спрашивал, есть ли у нее «толковая посуда», чтобы приготовить на всю братию. Она показала им вот эту сковородку — четверть плиты занимает — и сказала, что за посудой дело не станет, были б грибки. Они попросили насчет «суприза» не распространяться и ушли тихим манером.

Черняк хмуро слушал ее. Все это ему чрезвычайно не нравилось. Какого же рода внушение следует применить, чтобы правила не расшатывались?

Грибники не вернулись и к чаю. Это уже заставляло насторожиться.

Петрович, бывалый человек и местный житель, допускал, что ребята могли заблудиться. В роще, конечно, не заблудишься, но если пойти дальше, вглубь, то здесь леса сурьезные. А что другое, к примеру,— встретить недобрых людей или столкнуться со зверьем из крупных,— то нынче такого не водится. В восемнадцатом тут крепко пошаливали, да новая власть их вычесала, а зверье распугано еще с войны... Ничего, поблуждают и выйдут...

Не вернулись грибники и к ужину, и ко сну. Дача притихла. Молча улеглись спать.

Теперь уже Черняк не думал ни о каких мерах пресечения. Ночью он несколько раз выходил в сад, спускался к дороге. Ночь была такая темная, что он не видел своей руки с потухшей самокруткой. Где они сейчас? Что произошло с ними?

И утром не вернулись грибники.

После завтрака Черняк заявил, что больше ждать нельзя. Надо разделиться на несколько групп, обследовать рощу, ближайшие окрестности. Петровича он попросил сходить на хутор и договориться о подводе — может быть, придется ехать в город.

Предложив «дачникам» не разбредаться, он зашел к себе, чтобы прихватить «пушечку» — на всякий случай. В это время из сада донеслись громкие выкрики и, кажется, смех. Сунув револьвер в карман, он побежал на крыльцо.

Все «дачники» столпились здесь. Забравшись на дерево, Коля Филатов кричал, как дозорный с крепостной вышки:

— Приближаются! Двое! С пустыми руками!.. Грибы бортиком — факт!

Сообщения Коли Филатова вызывали веселые замечания. Грибники нашлись, можно и посмеяться.

Лишь оторг стоял молча: вот, оказывается, что означает, когда люди говорят: камень с сердца упал.

Но он тут же спохватился и одернул себя: «Не собираетесь ли вы, дорогой товарищ, устраивать радостную встречу нарушителям правил внутреннего распорядка?!»

Теперь уже и он отчетливо видел две знакомые фигуры, идущие по дороге. Надо быстренько приготовить для них какую-нибудь подходящую фразочку, чтобы всем понятно стало — снисхождения не будет! Что-нибудь такое, вроде: «А-а-а, здрасьте, голубчики! Давненько с вами не видались! Где же это вы изволили загулять?»

Сдвинув брови, оторг смотрел, как они подошли к саду, ступили на аллею, посыпанную желтым песочком. Бурая пыль покрывала их с головы до ног, лица измученные, точно опаленные.

Ладно, отставить фразочку! Пусть сначала вымоются, поедят. А потом собраться здесь же в столовой, и пускай объясняются перед всеми. Послушаем, обсудим и осудим. Да, именно так — выслушать, обсудить и осудить!

ГОРЬКИЙ ДЫМ КОСТРА

После завтрака Дубонос имел твердое намерение залечь в тенистом уголке минут на двести, как он любил выражаться, но Кощеев стал уговаривать его идти за грибами: лучше Дубоноса напарника не сыскать.

— Успеешь ухо давить,— убеждал его Кощеев своим окающим ярославским тенорком.— Вечер и ночь твои. А со мной не вернешься с пустыми руками. У меня,

брат, на грибные места нюх, ибо я возрастал в деревне... Почему Проконен с Лехой Дятловым бортиком проехались? Нюха не имеют! Вот те крест, Петро, не пожалеешь. Всех поразим.

Одолеваемый приятной истомой Дубонос таращил глаза и длинно зевал. Нелегко было раскачать такого слушателя, но Кощеев не отступал.

Примерно через час после собеседования две фигуры — длинная и короткая — двигались через поле по направлению к роще. Длинный был в соломенной шляпе со шнурком, в бархатной курточке, заметно изъеденной молью, в солдатских галифе, заправленных в нитяные носки. «Иисусовы галоши» — нехитрая обувь на деревянной подметке — стучали при каждом шаге. В руке он нес огромную плетеную корзину в форме бутыли.

Рядом шел коротенький спутник — в лихо надетой кепочке блином, в кургузом пиджачке, со щегольской картонкой, куда в свое время барыни укладывали на хранение шляпы. Встречные — имейся они здесь — приняли бы их скорее всего за странствующих фокусников: вот сейчас расстелют коврик на земле и дадут представление.

В роще было тихо, прохладно, и воздух среди матово-белых берез казался зеленоватым.

— Гриб сам не идет в руки,— поучал Кощеев,— его надо обнаружить зорким взглядом, а у тебя голова расположена очень высоко. Усиль внимание. Что ты видишь здесь, например? Кочку? А что я вижу? — Кощеев нагнулся и сорвал гриб с голубой шляпкой.— Сыроежка. Не ахти что, но и она сгодится...

Они долго бродили по роще, но добыча была мизерная — десятка три сыроежек.

— Тебе, Кощей, треба нюх прочистить, бо он у тебя засорився! — насмешничал Дубонос.

Кощеев нервно шмыгал утиным носом. Самолюбие его жестоко страдало.

Через некоторое время Дубонос заявил, что у него устали ноги и что самое верное — это выбросить сыроежки и потихоньку, тем же кружным путем, вернуться на дачу. Кощеев с горечью ответил, что из таких вот, как Дубонос, и получаются ренегаты, и предложил заглянуть в лес, пройтись по самому краешку: лес рядом, а до обеда еще далеко. И снова живописал он Дубоно-

су, как будут шипеть грибки на Ульянушкиной сковородке, источая аромат, и снова Дубонос поддался его красноречию.

После светлой, тихой рощи в лесу показалось почти темно, как будто сразу наступил вечер. Он был весь наполнен каким-то неясным гулом. Солнце запутывалось в высоченных верхушках.

— Грибом пахнет, факт,— говорил Кощеев, шныряя во все стороны хитрыми глазками.— Вот так и пойдем по кромочке... Ты не гони след в след, а сторонкой, сторонкой... Голос подавай, чтоб связь не потерять. И гляди, гляди в оба, не зевай...

Дубонос передвигался, добросовестно выполняя все указания. Прямо из-под ног, треща крыльями, вырвалась какая-то птица и нырнула в просвет между деревьями. Он выхватил из кармана пустую кобуру, оставленную «на память».

— Больша-а-я,— горестно произнес он, опуская руку,— зажарить бы такую. Тетерев, что ли... А ведь попал бы, наверно. Эх, Матвей, Матвей, и зачем ты такой принципиальный!

— Э-ге-е-й! — покрикивал издали Кощеев.

— Э-ге-ге! — лениво отвечал Дубонос. Он шел, тяжело подымая ноги. Грибы что-то не попадались. В животе начиналось бурчание. И вдруг он услышал отчаянные вопли Кощеева и бросился к нему, проваливаясь в мягкие кочки.

Добежав до зеленого островка между деревьями, он увидел, что Кощеев сидит на земле, и подумал с испугом, что его укусила змея.

— Петро! — хрипло закричал Кощеев.— Ты гляди, что тут делается... Хватай... не пропускай ни одного...

Дубонос осмотрелся. У травяных бугров тесными кучками лепились маслянисто поблескивающие шляпки. Он нагнулся, сорвал гриб, размял его в железных пальцах.

— Этот гриб ложный! — сказал он, вытирая руку о штаны.

— Да ты что, спятил? — задохнулся Кощеев.— Сам ты ложный! Это знаешь какой гриб...

— Ложные грибы я собирать не буду! — решительно перебил Дубонос.— Не желаю скандалиться, как Сашка Проконен. Чтобы частушки про меня составляли!

— Слушай, дерево, жердь, колокольня,— простонал Кощеев.— Это же маслята. Это же невыносимой вкусноты гриб. Петро, слушай,— умоляюще продолжал он.— Ты делаешь грубую политическую ошибку. Ведь блюдо-то какое Ульянушка сотворит — за уши не оттянешь...

Дубонос тяжело вздохнул и взялся за работу.

— Сколько с одного места сняли! — ликовал Кощеев.— Это называется фу́рор. Ах, какой это фу́рор... Вот еще бы полстолька и...

— Не, будя! — перебил Дубонос.— Как бы не опоздать... И курсак велит домой поворачивать... Сегодня у нас консоме... На второе — арико соус пикан... Должен признать, между прочим,— добавил он, оглядываясь,— что я бы отсюда дороги не нашел. Ей-ей, не знаю, куда идти.

— Вот видишь, без меня ни шагу,— обернулся к нему Кощеев.— Так вот, почтеннейший: направление мы определяем по солнцу. Где наша дача? На юго-западе. Значит, идем сюда, напрямик... Об этом знают не только путешественники, вроде Колумба, Васко да Гамы, но и ученики школы.

— Ишь ты! — с оттенком уважения сказал Дубонос.— Тогда веди, Васька-да-Гама.

Кощеев вдруг остановился.

— Были мы тут,— пробормотал он, показывая на зависшую сосну.— Факт, что были... Как же так?

Он стоял, осматриваясь по сторонам, беззвучно шевеля губами.

— Ну что, Васька-да-Гама, не туда заехали?

— Ничего, ничего,— бормотал Кощеев.— Лес не поле. Бывает. В деревне говорят — леший водит... Сейчас определим. Вот туда наше направление, на тот угол.

Идя за ним, Дубонос смотрел на его худощавый затылок с ложбинкой, поросшей бесцветным пухом. Может ли быть выражение у затылка? Как видно, может! Кощеевский затылок выражал тревогу, беспокойство, и это наводило на тягостные размышления насчет обеда, который, похоже, откладывался надолго.

— Ну что, знаток природы! Сели в лужу с твоим деревенским нюхом!

— А долго я там жил-то? — огрызнулся Кощеев.— Восьми не было, как привезли в Питер.

— И зря привезли! Надо было тебя оставить... Куда мы идем?

— Идем правильно! — мотнул головой Кощеев.— Только мы с самого начала взяли не в тот угол... А все равно выйдем.

А время шло, и они тоже все шли и шли, и казалось, что лес наплывает на них зелеными волнами.

Уже не было сомнения, что они заблудились, а Кощеев продолжал упрямо твердить, что они идут правильно — ошибка была вначале, когда пошли не в тот угол, а теперь приходится давать крюка.

Лес расступался и снова смыкался за ними, и им все время казалось, что они так и не выходят за пределы одного круга.

Но вот ноги вывели их куда-то, где они еще не были: будто какой-то великан вывернул в дикой злобе эти вековые деревья, расшвырял, нагромоздил их. Они лежали поверженные, почерневшие.

Кладбищенская тишина царила здесь, и какой-то древней, жуткой глухоманью веяло от этого места.

— Точно конец света,— сказал Дубонос.

Кощеев потянул носом.

— Вроде дымом пахнет,— произнес он удивленно.

— Опять деревенский нюх?!

Кощеев стоял неподвижно, подняв голову и принюхиваясь по-собачьи:

— Пахнет. Я тебе говорю... Костром пахнет. Идем!

За буреломом поднялась зеленая стена леса.

— Может, людей встретим,— возбужденно говорил Кощеев.— Охотники, наверно.

Теперь и к Дубоносу пробилась невидимая струйка горьковатого дыма. Так пахнет костер в лесу.

— Думаешь, охотники? — спросил он.

— Ясное дело. Привальчик сделали.

— А если не охотники? — замедлил шаг Дубонос.

— А кто же, Петро?.. Ну, люди!

— Не ори! Поглядеть надо, что за люди.

— Брось, Петро, не смеши народ.

Дубонос не ответил. Ступая по мягким кочкам, он стал медленно переходить от дерева к дереву. Кощеев бурчал позади: «Тоже мне, приключения на суше и на море». А горький дым все явственнее плыл навстречу.

Скат. Густой кустарник вперемежку с лесом. И сквозь деревья видно, как шевелится рыжее пятно костра.

Дубонос согнулся, лег на землю и пополз, как огромная ящерица. Кощеев недовольно сопел, но полз рядом.

Так добрались они до поредевших кустов и залегли — дальше нельзя. Совсем близко потрескивал и чуть дымил небольшой костер. Лохматый мужчина, до ушей заросший черной бородой, сидел возле него и подбрасывал в огонь мелкие сучья.

Несмотря на жару, он был в стеганом ватнике с прожженной дырой на боку; по другую сторону костра, подперев голову рукой, полулежал второй человек — лица его не было видно.

Нет, не похожи на охотников!

— Передай водички, Мироша,— резким гнусавым голосом сказал лохматый.

Тот привстал, протянул закопченную солдатскую манерку. Это был молодой парень с пухлым, бабьим лицом.

Лохматый долго пил, запрокинув бороду.

— Вкусна лесная водичка. Чиста, холодна,— сказал он удовлетворенно и погладил бороду, стряхивая капли воды. Парень лежал молча, уставившись на огонь.

В тишине потрескивали горевшие сучья. Лохматый положил себе на колени брезентовую сумку, вынул из нее краюшку хлеба и ломоть желтоватого сала.

Кто из них пошевелился — этого Дубонос и Кощеев не могли установить и много позже. Захрустела сухая ветка. Звук показался оглушающе громким,— может быть, потому, что хрустнуло у самого уха.

Но и те, у костра, как видно, услышали его.

Лохматый перестал жевать и повернул лицо в их сторону. Парень приподнялся на локте, вытянул шею. Они настороженно вслушивались, потом парень произнес жалобно:

— Вот, дядя Петя, какая пошла житуха. Дрожи от каждого шороха, хоронись, как зверь лесной.

— Зато спасаем наше грешное тело,— ответил лохматый,— а это есть наше бесценнейшее достояние... Да и кто полезет сюда? Это уж так у нас, от воображения. К вечеру доберемся до Гуляйки, а там нас куманек приютит. Мы с тобой, Мироша, мелкоплавающая дичь — совхозный счетовод да конюх совхозный. А попадем под горячую руку, и подвесят нас заодно с гражданами-това-

рищами... Карловский-то председатель какую принял кончину?! У них опять пошло на кровь, как в восемнадцатом! И что будет в нашем Деме богоспасаемом, провидеть нельзя. Знаем мы с тобой, Мироша, только одно, что ихняя мобилизация нам не с руки. Мы отойдем в сторонку, подождем, посмотрим.— Лохматый убрал недоеденную краюшку и начал, кряхтя и морщась, стягивать сапог.— Ты, Мироша, по своей малой грамотности, не видишь факты дальше Демского уезда. А между тем наша уездная Карловка есть частица... Не может процветать государство, если против достойных людей, против хозяев с законным достатком поставлена голытьба, именуемая беднотой, и прочая голоштанная шатия. Это и порождает протест, противодействие и даже отчаяние. Не нам, так и не вам. Горите огнем!.. Наша же линия, Мироша, не соваться и лихое времечко переждать.— Он размотал портянку и сокрушенно поглядел на ногу.— Ну и стер, мать честная! Нету походного навыка. Вот и в душегрейке прожег дыру...

Голос его звучал по-домашнему неторопливо. Беспокойный мир, от которого спасались эти люди в одичало-глухом уголке векового леса, уже казался им, наверно, отодвинутым куда-то далеко.

И так поражающе-неожиданно было то, что случилось через несколько секунд, что они даже не вскрикнули, не вскочили, а остались сидеть, точно застигнутые внезапным параличом.

Только треск в кустах успели они услышать. Потом что-то метнулось перед глазами и непостижимо громадный человек возник у костра (второго они не заметили).

— Оружие сдавайте!

Парень стал медленно подымать руки вверх. Лохматый, откинув голову, глядел на неправдоподобного человека снизу вверх, товчно на высокое дерево.

— Оружие выкладывайте! Что в сумке?

Лохматый вдруг засуетился:

— Оружия у нас нету... Не держим.— Он опрокинул сумку трясущимися руками.— Вот... махорка, хлеб... Сала тут осталось... Белье. Карт колода... всё!

Дубонос и Кощеев переглянулись: оружия нет — видно сразу.

— Обуйся! — сказал ему Дубонос и повернулся к парню.— Руки опусти!

Кощеев смотрел на него с молитвенным восторгом. Дубонос приложил ладонь к шляпе — отдал ему честь — и сунул кобуру в карман. Все-таки пригодилась! Он сам на какую-то секунду поверил, что это не кобура, а его трофейный пистолет, добытый под Нарвой.

— Подымайтесь!

Лохматый оказался низеньким, коротконогим, почти квадратным. Парень в неопоясанной, длинной рубахе, в светлых кудерьках на голове, был похож на оперного пастушка. Хороша парочка!

— Выходите! В город пойдем. Небось не позабыли дорогу!.. И ни полшага в сторону, а то...

Вот и все. И уже не мучают воспоминания об «арико соус пикан».

ДВАДЦАТЬ! И ВСЕ СТАРЫЕ ФРОНТОВИКИ!

Шли молча. Плотный настил из сухих, слежавшихся листьев сменялся обманчивыми прогалинами, где чавкала жижа под ногами. А над головой, перемежаясь с редкими голубыми просветами, тянулась нескончаемая зеленая завеса.

Шли то гуськом — когда тесно прижимали деревья,— то снова парами. Глядя на понурые спины идущих впереди, Дубонос и Кощеев мысленно спрашивали друг у друга, догадываются ли эти двое о странном положении идущих сзади и не знающих дороги.

Представление о времени утратилось. Не было ни голода, ни жажды, ни усталости.

Лес поредел, и совсем неожиданно открылась лесная тропа. И хотя неизвестно, куда она приведет, все же приятно было ступить на нее — точно сойти с колеблющейся палубы на твердую землю.

Парень, переставлявший ноги как во сне, вдруг обернулся. Его пухлое лицо подергивалось.

— Батя, а батя,— произнес он сипло, обращаясь к Дубоносу.— Отпусти нас... Мы люди смирные... Отпусти. Слышь, батя?

— Иди! Не задерживай!

Парень не трогался с места.

— Пусти, батя, пусти,— бормотал он исступленно.—

У отца кабан откормленный, десять пудов... половина ваша... без обману... утей держим...

— Еще чего? — изумился Дубонос.— Иди, иди... Утей!

Стемнело — будто подсинили воздух. И опять неожиданно дорога перешла в поле, и завиднелась на горизонте церковная маковка, какие-то амбары величиной с детские кирпичики.

Через некоторое время Дубонос остановился.

— Что-то на Дем не похоже,— тихо сказал он Кощееву.— Другое что-то.

Те двое продолжали идти, потом, не слыша за собой шагов, испуганно обернулись.

— Почему не Дем? — так же тихо ответил Кощеев.— Мы же с другой стороны его видели. Со станции.

До церковной маковки оказалось далеко. Впереди — на дороге или в поле — засветился огонек. Он покачивался, придвигался, и вот уже стал виден фонарь, люди: бравый усач в буденовском шлеме, паренек в куцей шинелишке, с винтовкой под мышкой.

— Стой!

— Свои! — сказал Дубонос и потрогал карман: документиков, конечно, никаких; как-то отвыкли на даче от всего.

— Что за люди?

Кощеев неторопливо порылся в карманах, извлек какую-то бумажку (Дубонос одобрительно хмыкнул). Это было старое удостоверение, где сообщалось, что «предъявитель сего тов. Кощеев Осип Евдокимович командируется на станцию Дулово, Детскосельской ж. д. для проведения собрания молодежи».

Паренек в шинели придвинул фонарь.

— Питерские! — сказал усач.— Славно!.. У нас такой прошел слух, что встречаем питерских на будущей неделе в клубе.

— А мы раньше прибыли,— ответил Дубонос.— И этих с собой прихватили. Прятались в лесу... Интересная парочка... Сидят у костра и агитируют друг дружку. Вот этот такой соловей — прямо заслушаешься...

В неярком луче фонаря блеснула антрацитово-черная борода.

— Постой-ка! — сказал усач.— Личность знакомая... Откуда?

— С совхоза,— угрюмо выдавил лохматый.

— Точно... А чего утекли в лес?.. От мобилизации смылись? Максим, веди их к Чикину... Пускай там доложат свою прокламацию...

Паренек снял винтовку с плеча:

— Пошли!

— Во гады! — Усач смотрел им вслед, пока фонарь не исчез за углом.— Закурим нашего демского... вертите!

Дубонос вынул коробок.

— Ого, важно! — ухмыльнулся усач, нагибаясь к огоньку.— Как-то интересно прикуривать от спички... А питерские нас не забывают: тут прошедшей осенью приезжал продагитотряд. Главный у них, дай бог памяти, Головин или Головкин. С Путиловского. Постановку ставили, лекцию. Незнакомый вам? А вы, ребята, до какого начальства?

— Нам бы в укомол. К товарищу Сайтудинову.

— Значит, пойдем на курсы, где краскомы. Все там. На казарменном положении! — Он вздохнул.— Опять заварушка. Сегодня с Карловки добрался наш парень, Ситников. Он там секретарем волисполкома. Ушел еле жив. Отсиделся в клуне. О карловском председателе знаете?.. Живым закопали в землю. Вот что делают изверги рода человеческого!.. Село большое. Богатеи. Кулацкое подполье. Мутили-то давно. Листовочки подбрасывали мужикам... А теперь, значит, в поход собрались. Вся нечисть слетелась. Молебствие, крестный ход, офицерье с погонами, кокарды... Рассчитывают полыхнуть на всю губернию... И у нас тут обнаружились элементы. Кой-какой народишко побежал.— Он поправил винтовку, вскинутую на плечо.— Три года отбил на германской. У Буденного со дня основания. Вышел по чистой... У меня ведь только наружность, а внутренность у меня побитая... Женился. Работаю на мельнице... А вот опять за винтовочку... Не дают, гады, спокойствия жизни...

Потянулись редкие домики, заборы, темные деревья за ними. У городка не было окраины. Он начинался сразу. Пыльная дорога переходила в улицу.

— А ваших питерских сколько?

Дубонос глубоко затянулся:

— Двадцать! И все старые фронтовики!

Черняк молча сидел за столом, обводя пальцем зеленое пятно на клеенке.

— А ты бы иначе ответил?

Черняк продолжал рассматривать пятно на клеенке.

— Нас же охранять собрались! Тот Сайтудинов хотел охрану прислать на дачу! А?.. Они пойдут, а мы тут будем делать обмен веществ и выделять желудочные соки?

Черняк молчал. Стуча «иисусовыми галошами», Дубонос шагнул к нему:

— Ты о чем мечтаешь, оторг? О правилах внутреннего распорядка?.. Идти надо в Дем. Теперь мы с Кощеевым знаем дорогу. Проведем как по паркету.

Тишина стала невыносимой. Черняк поднялся и, глядя прямо перед собой, пошел на кухню.

У плиты, уткнув руки в передник, стояла Ульяна Петровна, точно отставив уже все заботы. Позади нее, на полках с бумажными кружевцами, выстроились по ранжиру кастрюли, сверкающие медно-красным огнем.

Какой запах здесь! Даже не запах, а благоухание. Так благоухает «суп-жюльен», часто повторяемый на бис по желанию публики. А второе сегодня «фрикасе гасконь» — тоже по большинству голосов.

— Что у нас готовое, Ульяна Петровна?

— Жульён готовый... А фрикасе еще не начинала. Лапшу только подсушила для нее...

Черняк подошел к кухонному столу. На белой доске лежала нарезанная лапша и кусок теста. Взявшись пальцами за дужку очков, зажмуря глаза, он стоял так минуту, две, потом точно проснулся:

— А можно эту лапшу заложить в суп? Чтобы погуще получилось, посытнее... Если без второго?

— Почему нельзя? Можно! — глухо ответила Ульяна Петровна. Морщинки на ее лице задрожали.— Только мало в нем сытости... Сейчас раскатаю тесто, лепешек напеку. Это быстро... У нас дома их ка́тышками называли... Ка́тышки на дорожку...

Черняк вернулся в столовую.

Вот они, все тут! Сидят точно для групповой фотографии. И лица уже не те, уже иные лица — питерские. Усмешка пробежала у него за стеклами очков. «Ах, господин Шолле, господин Шолле! Сколь непрочна оказалась ваша «стихия растительной жизни»!»

Двадцать пар глаз неотрывно смотрели на оторга.
Он поправил очки и сказал:
— Идите, разбирайте оружие и патроны!

Дорогой, уважаемый секретарь Антоша!

В древности один товарищ сказал другому так: «Бей, но выслушай!»

Ты сам знаешь о милых шутках нашей почты и насчет оказии тоже знаешь, что она не всегда под рукой. Кроме того, бывают иногда обстоятельства, которых нельзя предусмотреть. Все это, вместе взятое, и вызвало задержку в наших письменных отношениях.

Живем мы здесь отлично, превосходно, т. е. крепнем, поправляемся, полнеем. Все полны этим желанием и хотят появиться в Питере в блеске. Сошлюсь на отрывок из евангелия от Матфея, которое здесь сочиняется:

От Матфея выдается
Хлеб насущный, не сухой.
Говорят, что так живется
У Христа за пазухой.

Тут затрагивается моя личность, и я должен умолкнуть.

Передаем всем нашим питерским пламенный привет.

Матфей Черняк, оторг дачный.

Постскриптум

Считаю необходимым довести до сведения, что внутренний распорядок дачи только один раз был нарушен по не зависящим от нас причинам.

Чтобы не тратить лишних слов и не калечить бумагу, при сем прилагаю два номера газеты «Демский коммунар». Описания фактов, относящихся к нам, следует признать несколько преувеличенными, хотя, конечно, размер событий был не маленький.

Я полагаю, дорогой Антоша, что все будет вам понятно. Ведь отремонтированное «казенное имущество» не держат на складах под замком. Наверное, и сам Ильич понимает свои слова в таком смысле. Отремонтироваться же мы успели изрядно.

Уездная контора, можно сказать, заварила крутую кашу (даже имели полевые орудия), но и расхлебала ее

сполна. Ход дела изложен в газете довольно правильно. Понятно, конечно, что не могло обойтись без потерь.

Со стороны «дачников» пострадали:

а) Дубонос Петро — два пулевых ранения в область правого плеча (слишком удобная мишень);

б) Михин Федор — осколочные ранения при разрыве гранаты, брошенной из окна избы;

в) автор этих строк, отделавшийся нетяжелой контузией.

Ранения опасности для жизни не представляют. В настоящее время раненые успешно излечиваются. Опасались у Дубоноса заражения, но теперь его тяжелое состояние прошло. У Михина вынуты одиннадцать мелких осколков, и он недоволен тем, что они, хотя и не сильно, но все же попортили его незаурядную внешность.

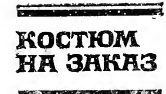
Оба находятся в лазарете города Дем, окруженные лечением, прекрасным уходом и дивной кормежкой, притекающей со всех сторон. Что касается меня, то я находился в лазарете всего три дня и был выпущен с обязательством повязывать голову. Еще некоторое время буду в Деме. Все остальные ребята вернулись на дачу. На время моего отсутствия я назначил замом хозяйственного мужичка Осипа Кощеева. Видимо, нам вскоре надо собираться. Здесь хороший урожай овощей, картошки. Демичи единодушно говорят, что осень будет сытная, так что можно вполне подготавливать нашу смену.

М. Ч.

Срочная Смольного Петрограда

Дем секретарю укомола Сайтудинову для Черняка М.

Смены не будет за посты скриптумы будем головы откручивать обнимаем Луба.



КОСТЮМ НА ЗАКАЗ

Разговор по телефону был короткий. Собеседники безусловно знали, о чем идет речь.

— Яков Михайлович,— сказал комендант,— тут у меня тот самый товарищ... Ждем ваших указаний!

Ответ последовал не сразу, и это было не совсем обычно для стремительного человека, который сейчас разговаривал с комендантом.

Воспользовавшись случайным перерывом, комендант выхватил из пепельницы почти истлевший окурок и, обжигая губы, сделал несколько жадных, глубоких затяжек.

— Вот что! — послышалось в трубке.— Вы где? У себя? Прошу вас никуда не уходить... Ждите команду!

Некоторое время комендант продолжал смотреть на трубку, потом осторожно повесил ее на громоздкий аппарат и сказал самым что ни на есть беспечным тоном, какой только имелся в его распоряжении:

— Ну что ж... Ждать так ждать!.. Можем и обождать!.. Правильно?!

Вопрос относился к пожилому мужчине в очках с обшитой дужкой, в старорежимных штиблетах. Он сидел на кончике стула и с интересом глядел в окно с затейливым переплетом, выходившим на кремлевский двор.

— Кремль... — произнес он задумчиво.— Интересная история... Тут тебе и монастырь... Тут тебе и церковь... И Совет с красным флагом... И тут же сам Ленин находится...

Комендант помолчал, обдумывая что-то свое, потом спросил:

— А у вас эти самые... приспособления... или как их назвать... с собой?

Собеседник полез в карман, достал свернутый сантиметр, огрызок карандаша, растрепанную записную книжицу.

— Вот они, приспособления! Больше ничего не требуется... Снимем мерку, запишем для памяти, а уже потом, когда раскроим материал да сметаем, тогда будет первая примерочка...

— Та-а-ак! — протянул комендант.— Я-то по этим делам не спец. Уже сколько лет состою на казенном довольствии... Вот еще царский донашиваю...— Он поглядел на свой матросский бушлат.— Слыхал, конечно, и пословицу: семь раз примерь, один раз отрежь, и все такое... А нельзя ли иначе? Раз — отмерил, раз — отрезал,— и пошла работа!

— Шить без примерок не положено,— наставительно ответил портной.— Примерка натурально показывает всю видимость одежды. Где подложить ватки, где распустить или убавить!.. От фигуры тоже зависит много. У кого какая фигура... Вы не думайте, что на кавалера шить легче... Иной мужчина капризнее дамы!

— А бывает все-таки, что шьют с одной мерки? — продолжал допытываться комендант.

— Все бывает,— уклончиво ответил портной.— Но уж это... когда вот так! — Он провел рукой по горлу.— А на кого будем шить, вы, товарищ комендант, извиняюсь, так и не сообщили...

Комендант прокашлялся. Чувствовалось, что у него еще нет готового ответа на этот вопрос. Он вытянул из кармана кисет, свернул цигарку, долго возился с зажигалкой. И тут, по-видимому весьма кстати, затрещал телефон. Комендант рывком бросился к аппарату, но тот-

час же на лице его изобразилась досада. Отдав распоряжение насчет разгрузки какой-то платформы, он пригрозил, что сам придет проверить.

— А должность у вас всесторонняя! — уважительно заметил портной.— Долго ли мы шли с вами от ворот, а сколько народу к вам обращается...

Комендант охотно согласился с ним. Он заметно старался быть любезным хозяином, но это ему не очень удавалось. То он вскакивал со стула и начинал крупно шагать по комнате, то с беспокойством поглядывал на стенные часы.

Звонок!

Знакомый, металлически четкий голос, точно печатая каждое слово, произнес:

— Товарищ комендант?.. Сейчас мы с Феликсом Эдмундовичем идем к Ильичу на квартиру! Минут через десять приходите туда с вашим товарищем! Мы ждем...

На этот раз комендант сразу повесил трубку и както боком взглянул на своего посетителя. Что же всетаки делать? Сказать сейчас или, что называется, в последнюю минуту?!

Пока он раздумывал, большая стрелка на часах вздрогнула и перескочила на целое деление. Он заторопился.

На улице было солнечно, чуть морозно. Ярко поблескивал сквозь поредевшую снежную шапку купол собора, мимо которого они шли. Как и всюду, кремлевские мальчишки играли в снежки. Ехали самые обыкновенные подводы с дровами.

— Ну вот, мы и на месте... Тут, можно сказать, близко... рукою подать! — Комендант говорил чрезвычайно ровным, спокойным голосом.— А шить мы с вами будем на Ленина... на Владимира Ильича... Костюм... то есть тройка...

— Шутите?! — выдохнул портной.

— Нет, не шучу! — ответил комендант.— На самом деле... Да вы не волнуйтесь. Фигура у Ильича подходящая... Росту, правда, невысокого, но прямой, плотненький...

— Разве я про фигуру думаю? — вырвалось у портного.— Эх!..

Комендант взял его под руку:

— Не обижайтесь... Не сказал раньше, чтобы вам... поспокойнее. А волноваться не надо. У Владимира Ильича все просто...

— А чего же вы сами так волнуетесь, товарищ комендант?! Думаете, я не замечаю... Я с самого начала замечаю!

Комендант нахмурился:

— Не отрицаю!.. Имеет место!.. Но только по другому обстоятельству... Тут другая есть линия.— Он нахмурился еще больше, чувствуя, как неубедительно звучат его слова.— Нету времени рассказывать, понимаете, нету...

После покушения на заводе Михельсона Ленин приступил к работе раньше, чем позволило ему здоровье. Врачи потребовали, чтобы он сделал перерыв и уехал в Горки. Пользуясь этим обстоятельством, решено было произвести на квартире Ульяновых ремонт.

— Тяните, тяните с ремонтом,— говорил Свердлов коменданту.— Грех упустить такой редкий случай! Пусть еще несколько дней подышит воздухом...

Комендант тянул. Но как это было трудно! Первое время с Горками не было телефонной связи, а ему частенько приходилось ездить к Ленину с разными поручениями. Владимир Ильич каждый раз нетерпеливо расспрашивал, как идет дело с ремонтом. Комендант отвечал, что вообще-то, так сказать, ремонт, конечно, идет, но задерживает нехватка материалов, время трудное, то одного нет, то другого нет...

Почувствовав себя лучше, Ленин стал особенно нетерпелив. Все труднее становилось отговариваться нехваткой материалов и прочими мифическими причинами. Как-то, во время очередного объяснения, Владимир Ильич вдруг резко прервал его:

— Знаете, батенька, хватит! Ремонт закончен! Я это выяснил! Завтра с утра я буду в Москве! И передайте об этом Якову Михайловичу!.. Я ведь знаю, кто вас инструктирует,— добавил он, пронзительно глядя на коменданта.

Комендант слушал, виновато моргая, лицо у него было скорбное, он как бы полностью осознавал свой проступок. Но прошло немного времени, и он бодро взялся

за практическое выполнение нового «заговора», который опять возглавил Свердлов, привлекший еще и Феликса Эдмундовича Дзержинского.

Было неоспоримо установлено, что председатель Совнаркома нуждается в новом костюме, но сам он придерживался на этот счет другого мнения. Весь его гардероб состоял всего лишь из двух костюмов, но он считал, что этого вполне достаточно. То, что костюмы служат значительно дольше положенного срока,— не имело для него значения. Они были всегда вычищены, вытюжены (Владимир Ильич был аккуратен до щепетильности), выглядели совсем прилично — что еще требуется?!

Особая трудность нового «заговора» заключалась в том, что его невозможно было осуществить без участия самого Ленина. Необходимо добиться его согласия, но как?

— Во всяком случае, пока ни звука! — наставлял коменданта Свердлов.— Приравнивается к военной тайне! Если Ильич узнает о нашем намерении, все пропало. Надо захватить его врасплох, улучить подходящую минуту...

И вот наступила такая минута.

Маленькая передняя, где все так хорошо знакомо. На вешалке — зимнее пальто Ленина, зонтик Надежды Константиновны, длинная шинель Дзержинского.

Дверь в столовую открыта. Там, за квадратным столом, накрытым клеенкой, сидят Дзержинский и Свердлов. Привычно похаживая по комнате, о чем-то оживленно рассказывает Владимир Ильич.

Увидев коменданта, он остановился, поздоровался.

— Что у вас, товарищ комендант?

Комендант метнул взгляд на Свердлова. Наверно, очень уж выразителен был этот взгляд, потому что Ленин тотчас же повернулся к своим гостям. С невозмутимым видом сидел Яков Михайлович, Дзержинский перелистывал книгу.

У Ленина появилась нетерпеливая складочка между бровей:

— Может быть, вы объясните, товарищ комендант, цель вашего визита? Кстати, это кто прячется у вас за спиной?!. Опять что-нибудь выдумали?!

Ах, какая это была тягостная, какая неловкая минута! Бывалый матрос, который, как говорится, не моргнув глазом, разоружал увешанных гранатами анархистов, сейчас весь как-то взмок, отсырел. Рука невольно потрогала карман, где лежал кисет с табаком.

— Мне кажется, что тут пришел товарищ, который хочет снять мерку! — все с тем же невозмутимым видом произнес Свердлов.— У меня почему-то создалось такое впечатление...

— Мерку? — удивился Ленин.— Какую еще мерку? С кого?

— С вас, Владимир Ильич, с вас,— вмешался в разговор Дзержинский.— Если я не ошибаюсь, речь идет о вашем будущем костюме!

— Это что? Заговор?! — Ленин отступил на шаг.— Да еще с участием самого председателя ВЧК?

Дзержинский скромно потупился:

— Научился, Владимир Ильич! Все время работаю по заговорам. Можно сказать, стал специалистом!

— Ах вот как?! Весьма оригинально! — Ленин, сощурясь, оглядел притихших «заговорщиков».— А председатель ВЦИКа дипломатически отмалчивается! Однако не думайте, Яков Михайлович, что мне неизвестны некоторые ваши о-ч-чень своеобразные начинания...

В голосе Владимира Ильича звучали язвительные нотки; похоже было, что он сердится не на шутку. Свердлов сделал чуть заметное движение рукой, сверкнул очками на коменданта. Тот сразу понял, отодвинулся в сторону, и человек, стоявший за его широкой спиной, стал видим всем присутствующим.

У Владимира Ильича мгновенно изменилось выражение лица.

— Здравствуйте, товарищ,— сказал он, подходя к портному и протягивая руку.— Прошу извинить, что вас побеспокоили... Я бы сам мог приехать! — Он посмотрел на «заговорщиков», в глазах его вспыхнули колючие искорки.— Ладно, сегодня ваша взяла, но...— Он махнул рукой.— Что же с меня требуется?

Портной впервые взглянул в лицо своему необычайному заказчику. Оно было совершенно спокойно, и где-то в самой глубине узких, удивительно живых глаз пряталась одобряющая улыбка.

Поправив очки, портной профессиональным взором

оглядел костюм стоявшего перед ним Ленина, потом осторожно отвернул лацкан его пиджака:

— Извольте сами убедиться, какой был у этого материала цвет...

Ленин искоса взглянул на отвернутый лацкан.

— Гм...— произнес он с некоторым смущением.— Но ведь это заметно только с внутренней стороны... А снаружи весь материал выгорел равномерно... И на прочности это не отзывается... Признаться, я полагал, что его состояние вполне удовлетворительное!

— Нету у него удовлетворительного состояния,— вздохнул портной.— Одна видимость. Конечно, фактически ясно, что вы носите вещи заботливо, но ведь каждому предмету обозначено свое окончание! — Теперь голос портного зазвучал даже строго.— Так что новый костюм требуется вам непременно... И спорить об этом, я думаю, не приходится!..

Щуплый человек в стальных очках достал из кармана сантиметр. Движения его были неторопливы, уверенны. Все очень серьезно наблюдали, как он снимает мерку, как ставит загадочные знаки в своей затрепанной книжице. Владимир Ильич послушно поворачивался спиною, подымал руки, делал шаг.

— На сегодня все! — портной стал ловко сворачивать сантиметр.

И вдруг лицо у него сделалось растерянным, и он сказал запинаясь:

— Мне значит... было предупреждение, что ли... то есть шить без дальнейших примерок...

Ленин быстро взглянул на него:

— Какое предупреждение? Чье?.. Шейте, как того требует дело!..

Портной снова посмотрел в глаза своему заказчику:

— Я думаю, что больше одной примерки не потребуется, Владимир Ильич! Приложим старание... Конечно, суконце не первостатейное, выработка грубовата... но костюм сделаем обстоятельный...

— Суконце? — повторил Ленин, будто вслушиваясь, как звучит это слово.— Ах, суконце! — И сразу же повернулся к коменданту.— А позвольте узнать, откуда взялось это суконце?! На какие средства?!

Комендант выступил вперед:

— Владимир Ильич! Вот... слово мое! Вы сами в кур-

се дела!.. Выдавали мануфактуру. По десять аршин на члена профсоюза... Договорились с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной на замен вместо мануфактуры — материал на костюм... Неравноценно получилось! Сами слышали, что сукно не первостатейное... Надо было хоть немного мануфактурки оставить, по справедливости это, а Надежда Константиновна ни за что... Куда там!..

Ленин слушал его, точно прикидывая — верить или нет.

— Учтите, что я проконтролирую вас строжайшим образом! И если тут что-нибудь не так, вам несдобровать! Вы у меня на замечании...

— Да Владимир Ильич!..— с жаром воскликнул комендант и даже пристукнул себя кулаком по тельняшке.— Да я...

Ленин, сощурясь, смотрел на него и вдруг, без всякого перехода, громко рассмеялся.

— Так вы, стало быть... все мое семейство... втянули в заговор...— говорил он, вытирая ладонью глаза.— Заговоры, заговоры — один за другим! Просто не знаю, что делать!

АПРЕЛЬ

Профессор Борхард был представителем той науки, которая испокон веку не замыкалась в национальные рамки и даже имела свой единый международный язык — латынь. Он был медик, известный в Берлине хирург, руководитель клиники, целиком погруженный в свою работу и далекий от политики. Поэтому у него не возникло никаких побочных соображений, когда от имени Советского правительства его пригласили в Москву для ответственных медицинских консультаций — тем более что и условия, предложенные ему, были весьма благоприятны.

Добрые знакомые и друзья профессора не остались в стороне, узнав о предстоящем ему путешествии, на которое решались тогда далеко не все европейцы. В тысяча девятьсот двадцать втором году газеты уже не писали о пальцах в супе и белых медведях, которые бродят по улицам советских городов, но вот совсем недавно сообщалось из достоверных источников, что все мужское население Советов вынуждено отращивать длинные бороды, чтобы скрыть отсутствие сорочек, воротничков и галстуков.

Факты, подобные этому и даже более многозначительные, печатались чуть ли не ежедневно, а «наш милый профессор», несмотря на свой почтенный возраст и высокую ученость, так и остался «большим ребенком», человеком «не от мира сего». Времена, когда в Россию ехали, вооружившись бедекером и томиком «Анны Карениной», давно прошли, и малейшее легкомыслие может оказаться рискованным — надо все предусмотреть, взять с собой все необходимое.

Так явились на свет два могучих чемодана. В один из них уложили большой и разнообразный запас консервированных продуктов, чайный прибор, посуду, свечи, спички, одежду на все времена года и многие другие предметы — на всякий случай.

В другой чемодан — тоже на всякий случай — был упакован медицинский инструмент, вполне достаточный для оборудования порядочного хирургического кабинета,— вплоть до кровоостанавливающих зажимов и скобок.

Провожали профессора Борхарда торжественно. Его обнимали на прощанье, крепко жали руки, желали счастливого пути, благополучного возвращения и наконец усадили, затисканного и взволнованного, в вагон, идущий через Ригу в Москву.

В Берлине Москва представлялась загадочно-далекой, расположенной чуть ли не в другой части света. На самом же деле все оказалось ближе и проще.

Вояж прошел без малейших приключений. По прибытии в Москву тоже не пришлось испытать какого-либо беспокойства.

Профессора встретили, его ждал автомобиль. Некоторое затруднение получилось с чемоданами-гигантами. В небольшую открытую машину устаревшей марки поместился только один, а второй установили на пролетке московского извозчика в невиданной профессором униформе — что-то суконное, синее, с красным кушаком.

Путь от вокзала до гостиницы занял немного времени, к тому же профессор был озабочен предстоящей встречей с кремлевским доктором, заранее назначенной на шесть вечера. Поэтому его наблюдения по дороге были весьма ограничены.

Апрельская Москва была вся солнечная, зеленая. Бросалось в глаза, что тут невероятно много читают: все

время попадались наскоро сколоченные книжные киоски, тележки с книгами, букинисты, разложившие свой товар где только возможно — на выступах садовых оград, даже на панелях,— и повсюду возле книг толпились люди.

Одета была московская публика явно небогато, цветовой гаммы в женском одеянии не наблюдалось. Но повсеместно можно было увидеть выбритых мужчин в сорочках и галстуках. Гостиница безусловно относилась к разряду «люкс»: удобный, хорошо обставленный номер, ванна, душ. Меню, которое принесли из ресторана, помимо знакомых блюд, предлагало экзотические изделия русской и кавказской кухни.

Через некоторое время, умывшись, сменив дорожный костюм и приятно отобедав, профессор Борхард позволил себе небольшой кейф до прихода кремлевского представителя. Между прочим, взгляд его несколько раз останавливался на чемоданах, которые занимали добрую треть номера. Они казались здесь неправдоподобно огромными, точно приспособленными для жителей иных планет, и он подумал с неясной досадой, что, во всяком случае, один из них чрезмерно перегружен.

Ровно в шесть часов пришел кремлевский доктор, который должен был ввести Борхарда в курс дела. Лицо, назначенное для этой цели, представлялось профессору своего рода придворным врачом, лейб-медиком, и он был очень удивлен, узнав, что доктор Розанов не занимает никаких высоких должностей в Кремле, вызывается туда эпизодически и что он всего лишь заведует хирургическим отделением обычной городской больницы.

Это был очень приятный, обходительный человек, к тому же неплохо владевший немецким. То, что он сообщил, было чрезвычайным, исключительным по своему значению. Речь шла о здоровье Ленина. Оно заметно ухудшилось в последнее время, наблюдается упадок сил, нарушение сна, головные боли.

Возникло предположение, что это результат свинцового отравления организма, вызванного невынутыми в восемнадцатом году пулями. Ряд компетентных врачей и руководящих лиц, близких к Ленину, склоняется к тому, что эти пули необходимо извлечь. С этим и связано

приглашение такого видного специалиста, каким является профессор Борхард.

Профессор выразил признательность за столь высокую оценку его скромной особы, а доктор Розанов предложил, не теряя времени, поехать в Кремль, чтобы встретиться с Лениным.

— Как? Сразу... сейчас ехать к премьер-министру в Кремль?!.— растерялся профессор.

— Да, так прямо и поедем к премьер-министру,— чуть улыбнулся Розанов,— сегодня, по случаю неважного самочувствия и по настоянию врачей, он у себя дома, а не в рабочем кабинете.

У подъезда гостиницы стоял автомобиль с опущенным верхом.

— На этой машине ездит Владимир Ильич Ленин,— сказал Розанов.— Он прислал ее за вами.

Профессор молча посмотрел на него, потом оглядел машину и так же молча сел на место. По дороге доктор Розанов указывал ему на некоторые московские достопримечательности, но Борхарду не хотелось поддерживать разговор, хотя это выглядело, наверно, не очень вежливо. Лицо его становилось все более напряженным.

За свою многолетнюю практику ему не раз приходилось покидать Берлин, бывать за границей, встречаться с людьми, занимавшими высокое положение, и встречи эти воспринимались как нечто вполне естественное.

Здесь же было совсем другое. Ему предстояло знакомство с «грозным московским диктатором», как нередко называли Ленина на страницах мировой прессы. Начиная с семнадцатого года это имя печаталось, произносилось, склонялось непрестанно. Его упоминали в статьях, речах, проповедях президенты, министры, дипломаты, духовные особы самых высших рангов. Это имя, короткое и звонкое, одинаково звучащее на всех языках, появлялось на знаменах и плакатах, которые носили с собой демонстранты, в толпах бастующих шахтеров, портовых грузчиков, даже в колоннах протестующих против чего-то конторских барышень. Не существовало в эти годы другого имени, которое приобрело бы такую небывалую, всесветную известность. Не было человека на земле, о котором распространялось бы столько

противоречивых суждений, сведений, легенд, иногда просто фантастических.

Все это глухо доходило до профессора Борхарда сквозь стены клиник и лабораторий, где он работал. Его интересы лежали совсем в другой области, но, оказывается, и у него сложился в голове какой-то свой, не очень ясный образ знаменитого вождя большевиков — что-то подавляюще-сильное, даже физически воплощенное в какую-то мощную фигуру.

И так же, как это было с сотнями людей до него, он был поражен в первую же минуту, когда невысокий коренастый человек, сугубо интеллигентного и очень скромного вида, взял из его рук снятый плащ, чтобы повесить на круглую вешалку, и произнес несколько любезных слов.

Их представили друг другу, и было удивительно, что хозяин тоже счел нужным назвать свою фамилию. Профессору сообщили, что Ленин хорошо знает немецкий, но слово «хорошо» в этом случае не подходило. Ленин говорил по-немецки свободно и легко, и Борхард не удержался, чтобы не выразить приятного удивления.

— Я изучал немецкий с детства — дома и в гимназии,— улыбнулся Ленин.— Много лет провел в эмиграции, жил в Берлине, Мюнхене. Постоянно читал немецкие книги, журналы, газеты... и сейчас читаю.

Господин Семашко, народный комиссар здравоохранения, что соответствует у Советской власти посту министра, находился тут же. И он тоже недурно владел немецким и, как вскоре выяснилось, был опытным и знающим врачом.

Переводчик не потребовался, и это очень оживило и облегчило общую беседу.

Прежде всего Ленин расспросил со всеми подробностями, как себя чувствует герр профессор в Москве: хорош ли номер, исправно ли работает лифт, какова ресторанная кухня? Если что-нибудь не так, просьба сказать об этом без стеснения.

Видно было, что эти расспросы не являются данью вежливости, принятой в подобных случаях; на лице его появилось довольное выражение, когда он услышал, что все «так» и лучшего желать не надо. Разговаривая, он, как видно, даже мысли не допускал, что кто-то в его

присутствии может испытывать стеснение, неловкость. Не вызывало сомнения, что он и здесь был абсолютно искренним, иначе это не оказывало бы такого неотразимого действия.

Борхард почувствовал это на себе в полной мере. Не осталось даже тени от того напряжения, с каким он входил сюда. Теперь можно было спокойно приступить к цели визита, и он попросил разрешения у господина премьера задать несколько вопросов относительно его самочувствия.

Ему показалось, что при слове «премьер» в глазах Ленина на секунду блеснула веселая искорка, потом он сказал, что всегда затрудняется, когда врачи спрашивают его о самочувствии. Нет практики жаловаться, улыбнулся он, поскольку болеть приходилось мало. Было воспаление легких, был тиф, и вот, после ранения, пришлось лежать некоторое время. Всю жизнь он считал себя достаточно здоровым человеком. А сейчас, пользуясь случаем, он хотел бы переговорить с профессором вот о чем...

Он помедлил, с пристальным вниманием поглядел на профессора, точно пытаясь заранее определить, как отнесутся к его словам, и сразу посерьезнел.

— У нас имеется большая группа людей,— сказал он,— занятая исключительно сложной, ответственной работой. Здоровье многих из них подорвано длительной подпольной борьбой с царизмом, тюрьмами, ссылками, тягчайшими годами недавней гражданской войны. И сейчас они продолжают работать в небывало трудных условиях, с напряжением всех душевных и физических сил, не считаясь ни со временем, ни с возрастом, ни со своим здоровьем. И вот последствия этой непомерной траты: болезнь, которая почти официально называется «советской». Наши врачи так и пишут в диагнозе: «советская болезнь». Европейской медицине она, наверное, неизвестна...

Борхард кивком головы подтвердил: неизвестна. «Удивительное вступление к разговору о собственном самочувствии».

— Наша большая беда в том,— продолжал Ленин, и в голосе его почувствовалось волнение,— что этих людей почти невозможно заставить не только лечиться, но просто отдохнуть, хотя бы ненадолго прервать работу.

Но сейчас у нас создана высокоавторитетная медицинская комиссия с большими правами — вплоть до принуждения в дисциплинарном порядке. Кто уклоняется от обследования, от выполнения врачебных предписаний — того к ответу! Иначе ничего от них не добьешься. Они у нас такие! А разговор наш,— добавил он,— имеет корыстную цель: не сочтет ли профессор возможным несколько задержаться в Москве и принять участие в работе упомянутой комиссии? Здесь, весьма кстати, и нарком здравоохранения. Можно немедля все обсудить, если у профессора нет возражений.

Есть возражения или нет возражений? Поворот был слишком неожиданным, чтобы сразу найти ответ. В разговор вступил Семашко. Он то говорил по-русски, то переходил на немецкий, но Борхард все понимал.

— Ваше предложение, Владимир Ильич, безусловно следует обсудить. Участие в комиссии профессора Борхарда очень помогло бы нам. Но начнем мы с вас, Владимир Ильич! Я думаю, что именно вы являетесь основателем «советской болезни». Поэтому и приступим к делу. Ознакомим профессора с рентгенограммами, затем осмотр...

Борхард посмотрел на Семашко, на Ленина. Он видел, как Ленин развел руками, точно желая сказать: молчу, молчу...

«Сделал замечание премьер-министру!.. Однако!»

Доктор Розанов достал из конверта пачку рентгенограмм. Здесь были и давнишние — сразу после покушения,— и совсем новые, апрельские. Пули виделись отчетливо. Одна сидела близко к поверхности над правым грудинно-ключичным сочленением, вторая глубоко в области левого плеча. За четыре года произошло небольшое их смещение. В соседних тканях ничего подозрительного не отмечалось.

— Свинцовое отравление,— сказал Ленин.— Очень много слышу о нем в последнее время. А ведь есть много людей, которые всю жизнь носят в своем теле осколки, пули... и без ущерба для здоровья. Я хочу добиться ясности! Скажите, профессор, допускаете вы, что на меня действует свинцовое отравление?

— Во всяком случае, нет оснований утверждать, что оно не действует.

— Значит, операция?

Борхард поглядел на доктора Розанова.

— Владимир Ильич,— сказал Розанов.— Надо испробовать и это средство. Возможно, что результат будет благоприятный. Полагаю, пока мы можем ограничиться одной пулей... вот этой, шейной...

— Разумно! — подтвердил Семашко.

— Что же, делать так делать! — Ленин усмехнулся.— Мне теперь деваться уже некуда. Слишком много народу вовлеклось в это дело,— конечно, с самыми лучшими намерениями. Только хотелось бы поскорее покончить с этим.

— Назначим на завтра,— сказал Розанов.— У меня в хирургическом. Солдатенковская больница. Время уточним. Оперирует профессор Борхард. Надеюсь, что мы быстренько отпустим вас домой. Будете у нас амбулаторным больным... Ваше мнение, профессор?

— Операция есть операция! — хмуро ответил Борхард, старательно протирая очки. Делать операцию такому лицу в какой-то заурядной городской больнице?! Это невозможно, недопустимо, но... У немцев тоже есть пословица, сходная с русской,— о монастыре, в который не ходят со своим уставом,— только звучит она иначе.

— Вот теперь, если позволите, поговорим о комиссии,— обратился к нему Семашко.

Ленин встал с кресла, подошел к ним. Вблизи лицо его казалось старше, и было видно, что он плохо спит и что у него часто болит голова. Борхард вспомнил вдруг газетную заметку, которую читал в поезде: этот номер газеты приехал вместе с ним в Москву. В заметке сообщалось «от собственного корреспондента», что Ленин «утопает в азиатской роскоши» и что на одни фрукты, которые достаются для него, ежедневно затрачивается тысяча долларов.

— Кхрм! — Борхард произнес этот звук довольно громко и неожиданно для себя.

— Что? Простите, не расслышал.— Ленин чуть нагнулся к нему.

— Я охотно приму участие в этой комиссии,— быстро сказал Борхард.

— Отлично, отлично! — Ленин крепко потер руки.— И вы там, пожалуйста, построже, построже. Они у нас такие, знаете ли...

— В таком случае я вас похищаю, профессор,— сказал Семашко.— Мы сейчас поедем в комиссариат, а доктор Розанов нас проводит. По дороге обо всем договоримся...

Больница, название которой нелегко было произнести — «Зольдатьенковскайа»,— находилась в той части Москвы, где преобладали деревяниые дома с резными окошечками, беспорядочно разросшиеся деревья, огороды, уже успевшие густо зазеленеть.

Доктор Розаиов, встретивший Борхарда у входа в хирургический корпус, не без удивлеиия посмотрел на чемодаи, который был выгружен из автомобиля с помощью шофера. Профессор поблагодарил и сказал, что дальше поиесет сам. «Не помочь ли? Позвать санитара?» — осведомился Розанов, поглядывая иа профессора, волочившего чемодаи по коридору. «О нет, иет, большое спасибо,— поспешно ответил Борхард,— он совсем не так тяжел, как это можно подумать».

Доктор промолчал. Это был в высшей степени тактичный, поистине воспитаниый человек — профессор оцеиил это. Он ие позволил себе самой незначительной шутки, иронического взгляда даже в ту мучительно-иеловкую для Борхарда мииуту, когда был открыт загадочный чемодаи. Он только заметил, что со стороиы профессора было очень любезио позаботиться обо всем, что может поиадобиться для операции — не забыты даже перчатки, иожницы, скобки,— ио профессор может убедиться, что здешний хирургический кабинет обеспечеи всем иеобходимым.

Действительно, было достаточно беглого взгляда, чтобы согласиться с этими словами. Борхард стоял возле открытого чемодаиа, беспомощно опустив руки. Доктор Розаиов тотчас перевел разговор иа другое...

Еще вчера профессор Борхард был бы не в состоянии представить себе, что приезд всемирно известного политического деятеля, главы правительства, может пройти так незаметио. Но теперь он видел, как говорится, собствеиными глазами, как Леиин, в сопровождеиии одного лишь комиссара Семашко, пришел в хирургическое отделение. Вероятно, далеко ие все работники больиицы знали о его присутствии.

В Европе этому не поверили бы, это было непости-

жимо, но Борхард уже понял, что для занятого человека, приехавшего в эту страну, может существовать только один вариант: заставить себя поменьше удивляться, иначе будет затрачено слишком много времени. На этом он и остановился...

Ленин был оживлен, он подшучивал над торжественным видом врачей. В первую очередь это относилось, конечно, к профессору Борхарду. Профессор был облачен в просторный, накрахмаленный до хруста халат — единственная вещь, которую он достал из злополучного чемодана.

Больного провели в комнату за операционной. Борхард, сумрачно молчавший, вдруг сказал Розанову:

— Делайте операцию вы, а я вам поассистирую... Я вас прошу.

Розанов быстро взглянул на него: волнуется. Не может этого скрыть.

— Я думаю, профессор, мы будем действовать с вами, как условились. Позвольте уж мне оставаться ассистентом...

Борхард махнул рукой и отошел.

— Смотрите, даже операционный стол,— сказал Ленин, уже подготовленный по всем правилам к операции.— А я думал, признаться, что это будет вроде удаления зуба. Ведь пуля-то, вот она,— он потрогал шею повыше ключицы.— Только надрезать немного, она и выскочит... пулей!

— Придется на стол, Владимир Ильич,— коротко ответил Розанов. Ему передалось волнение Борхарда.

— Начнем, профессор?

Сделан укол. Бесшумно движется операционная сестра. Скальпель профессору!

Он работает стиснув зубы. Вот пуля, вынутая из рассеченной оболочки. Накладываем швы! Повязка. Всё!

И только сейчас доктор и сестра заметили, что у профессора мелко дрожат пальцы. Он прошел к умывальнику, смочил полотенце, отер лоб, щеки.

— Оперируемый вел себя превосходно! Чуть-чуть морщился! — сказал Розанов.

— Очень неприятное ложе,— Ленин был так же оживлен, только немного побледнел.— Знаете, замечательно быстро сделали! Как говорится, ахнуть не успел. Всем спасибо! Стало быть, финита?

— Нет, Владимир Ильич, еще не финита! Будем заполнять историю болезни. Садитесь, пожалуйста.

— Бог мой, и здесь писанина, да еще сколько,— говорил Ленин, отвечая на вопросы и наблюдая, как царапает перо по шершавой бумаге.— И это все нужно?

— Говорят, что нужно, Владимир Ильич!

— Очень много у нас пишут,— вздохнул Ленин.

Покончив с историей болезни, Розанов убрал ее в ящик, сунул руку в карман, достал ватку и, вынув из нее продолговатый кусочек свинца, положил его на стекло, покрывавшее стол.

Все молча смотрели на этот зловеще-серый кусочек. На его тусклой, будто сморщившейся поверхности были отчетливо видны неровные, крестообразные надрезы. То, что каких-нибудь пятнадцать минут назад было только «чужеродным телом» на рентгеновском снимке, стало той самой пулей, которой хотели убить Ленина, и это сразу вернуло всех к тому августовскому дню, когда миллионы людей как будто разом задержали дыхание.

Мучительно долго составляли врачи первый бюллетень (среди них были Семашко и Розанов). Они не знали, что будет впереди, но нельзя было не оставить людям хотя бы крошечную надежду...

И профессор Борхард тоже кое-что вспомнил об этом дне, хотя и далекой была от него «сенсация века»,— как захлебывались газеты, помещая ее под невиданного размера заголовками. Он вспомнил, как сотрудница хирургической клиники, которой он руководил, собирала в тот день подписи среди врачей и служащих, чтобы отправить телеграмму в Кремль с пожеланием Ленину скорейшей поправки. К руководителю клиники она не зашла.

Положив пулю на ладонь, Розанов тихо сказал:

— Вот... надрезы. Разрывная. Если бы ударилась о кость — распалась бы! Но она застряла в мягких тканях... Трудно сказать, какая страшнее — эта или другая, которую мы решили не трогать.

Из банки, стоявшей на хирургическом столике, он вытащил обрывок тончайшей, почти незаметной шелковой нити.

— На такую ниточку прошла от крупных сосудов. Мы, врачи, так и говорили: счастливый ход пули!

— С революционерами это может случиться всегда,— Ленин мельком взглянул на серый кусочек металла.— Признаться, мне хотелось бы переменить тему,— он лукаво прищурился.— Хочу напомнить вам, доктор, о данном обещании отпустить меня на все четыре стороны. Вы говорили, что после этой операции можно долечиваться и в домашних условиях. Обязуюсь все врачебные предписания выполнять неукоснительно.

— Не отрицаю, обещал, но...— доктор Розанов выразительно посмотрел на Борхарда.— Вы сами видели, Владимир Ильич, что я был только ассистентом. Решающее слово принадлежит профессору.

— О, нельзя, нельзя! — Борхард сверкнул очками.— Необходимы стационарные условия. Нет, нет, послеоперационный период это не шутка. Необходимо наблюдение!

— Придется вам, Владимир Ильич, у нас хоть сутки побыть,— соболезнующе сказал Розанов.— Да оно и в самом деле полезно будет вас понаблюдать!

— И вы туда же, эх! — Видно было, что Ленин всерьез огорчился.— Но как же быть? Я на это не рассчитывал. У меня неотложнейшие дела, никто ничего не знает... и мои домашние...

— Сообщим, сообщим, Владимир Ильич. Вот, товарищ Семашко все сделает! Понаблюдаем за вами до завтра, а потом сделаем вас амбулаторным... будете приходить на перевязки. И работать вы будете, как работали.

Ленин погрозил Розанову пальцем:

— Смотрите, доктор, я вам все еще верю.

У медицинской сестры Екатерины Алексеевны Нечкиной все уже было подготовлено для сдачи дежурства. Беспокойные больничные сутки остались позади, вскоре должна была прийти ее смена. И, как это бывает перед самым концом дежурства, подкралась вдруг такая минута, когда почти что нет сил преодолеть подступающий сон. С этой минуткой надо бороться — иначе затянет, как в зыбучий песок.

Она присела на холодную клеенку топчана, стоявшего в дежурке, старательно держа глаза широко открытыми, но веки закрывались сами собой. Услышав звук

открываемой двери, она вздрогнула; кажется, даже сон уже успел присниться. Увидев вошедшего Розанова, она вскочила, точно сделала что-то недозволенное, и смущенно произнесла:

— Извините, Владимир Николаевич!

— Что вы, что вы, Екатерина Алексеевна! Сидите, пожалуйста! Вот и я присяду рядом с вами,— он внимательно посмотрел на ее худенькое, бледное, усталое лицо, и ей показалось, что в глазах у него прыгают какие-то «чертики».— А я с просьбой к вам! Не могли бы вы остаться подежурить еще на сутки? Нет, нет, с вашей сменщицей все в полном порядке! — поспешил добавить он, увидев, как она сразу встревожилась.— Тут, видите ли, возникло совсем другое обстоятельство... К нам поступил один, так сказать, эпизодический больной, мы ему только что сделали небольшую операцию. Чувствует он себя удовлетворительно, специального ухода не требуется, но мы хотели бы, Екатерина Алексеевна, чтобы в это время дежурили именно вы. Не буду возносить вам хвалы и песнопения, вы и сами знаете, на каком счету у нас сестра Нечкина!

Худенькое лицо сестры Нечкиной слегка порозовело.

— Если нужно, Владимир Николаевич, я, конечно, останусь.

— Вот и отлично! Вашей сменщице мы тотчас и сообщим, чтобы она отдыхала эти сутки. Надеюсь, что она не будет против, а мы с вами сейчас решим, куда поместить нашего больного!

Они вышли из дежурки в коридор.

— Ну конечно же в сорок четвертую. Она как раз свободна. А то, что она служит нам изолятором,— не имеет значения. Совершенно отдельная комната, что и требуется доказать. Заглянем-ка в нее еще раз, Екатерина Алексеевна.

Сорок четвертая была похожа на одноместную пароходную каюту: окно, кровать, столик, тумбочка.

— Очень подходит,— говорил довольный Розанов.— Надо добавить сюда еще настольную лампу... скажите об этом сестре-хозяйке. И пусть сразу постелит все свежее. Мы скоро придем из хирургического корпуса... Могу повторить еще раз, что этот больной не причинит вам никаких хлопот! — Сестре опять показалось, что в глазах его мелькнули «чертики».

Разговор был не совсем обычным, но раздумывать над этим было некогда — надо быстро подготовить все к приему больного.

И вот он пришел. Где-то видела она это лицо. Очень знакомое лицо.

— Вот, пожалуйста, познакомьтесь! Это наша медицинская сестра Екатерина Алексеевна. Под ее неусыпным попечением вы будете находиться! А это Владимир Ильич! — повернулся к ней Розанов.

Она ощутила осторожное пожатие руки, точно опасались сделать ей больно. Голос, мягко заглатывающий букву «р», произнес:

— Очень приятно!.. А к вам, доктор, просьба! Разрешите мне самому переговорить по телефону с домашними?

— Владимир Ильич, все уже сделано. Я говорил с Марией Ильиничной. А товарищ Семашко давно в Кремле.

Вскоре, уже в больничном одеянии, Ленин осмотрел свою будущую палату.

— Хорошо! И окно большое!

— Должен еще раз напомнить, Владимир Ильич,— значительно сказал Розанов,— что вам рекомендуется полный отдых и покой... Ну, чтение еще можно! Что же касается умственных занятий, то, соответственно, бумага, карандаш и всякие иные письменные принадлежности отменяются...

— Ох и злодей же вы, доктор!.. Пользуетесь тем, что я в ваших руках...

— Пользуюсь, пользуюсь. И в то же время крайне доволен, что такие возможности выпадают мне не часто... Прошу располагаться, а мне нужно в хирургический. Думаю, что скоро освобожусь. О вашем поведении мне будут докладывать!

В дежурке, куда перед уходом заглянул Розанов, сестра сказала ему с несвойственной ей горячностью:

— И вы не сочли нужным предупредить меня, Владимир Николаевич! Вы-то знали, знали!

— Не гневайтесь, милая Екатерина Алексеевна,— Розанов погладил ее руку.— Вы, наверно, стали бы волноваться, что вполне понятно, а этого как раз и не нужно. А кроме того, Владимир Ильич страшно не любит, когда из-за него начинается какая-то карусель, как

он это называет... Мы вынули ему старую пулю. Я обещал, что все это на несколько часов, без госпитализации, но вышло иначе. Борхард настоял. Берлинский профессор, который делал операцию. А с другой стороны, отдохнет сутки, раз уж такой случай. Переутомление, усталость у него невозможные. Завтра его выпустим. Никаких предписаний я не оставляю. Говорит, что плотно позавтракал перед уходом, обедать будет позже. Измерьте температуру в положенное время, наведывайтесь к нему, но не часто. Работайте спокойно, как всегда! Пусть ничто вас не смущает!

— Да-а, вам-то хорошо,— вырвалось у нее совсем по-детски,— а мне...

— Не волнуйтесь,— улыбнулся Розанов.— Сами увидите, что все будет хорошо.

— А как мне называть?.. Обращаться?

— Полагаю, по имени и отчеству. Владимир Ильич — и все! Как только освобожусь — приду.

И для сестры начался, а вернее продолжался, ее обычный день — трудный, хлопотливый, беспокойный. Она раздавала лекарства, делала перевязки, заглядывала на больничную кухню, отмечала в журнале выполненные врачебные назначения, написала письмо по просьбе одного больного, но мысль ее неотступно возвращалась к небольшой палате под сорок четвертым номером.

Делая свою работу, она несколько раз проходила мимо двери с матовым стеклом; она имеет право войти сюда не постучав, когда найдет нужным. В конце концов, она обязана заглянуть к больному.

Он лежал на боку, полузакрывшись одеялом, смотрел в окно.

— Доктор Розанов в операционной,— сказала она, стараясь произносить слова возможно спокойнее.— Может быть, вам что-нибудь нужно? Я могу передать!

— Благодарствую, сестрица, ничего не нужно!.. Я тут без разрешения произвел небольшую перестановку: подвинул кровать к окну, а тумбочку немного в сторону. Хочется быть поближе к окошку...

— Что же... это хорошо...— не очень впопад сказала Екатерина Алексеевна и заторопилась.

Но ей пришлось задержаться. Один за другим посыпались вопросы: как кормят больных, хватает ли мест

для размещения, как отапливаются зимой, какие болезни встречаются чаще? В вопросах уже слышалась хозяйская, заботливая нотка, это уже не больной с нею разговаривал. Какие-то ответы, видимо, показались ему недостаточными или требующими обдумывания, он машинально поискал карман на больничном халате.

— Позабыл! Я же лишен письменных принадлежностей! А у вас просить боюсь! — он рассмеялся, откинувшись на подушку.

Она вернулась в дежурку. Пришла старшая повариха, лицо у нее было встревоженное.

— Екатерина Алексеевна, как поступать-то? Надо что-то изготовить, а что? Нет у нас такого продукта. Конечно, напоим чайком, чаек все пьют, а насчет другого — не знаю. Вы уж сами примите меры! Как же это так делается! Безо всякого уведомления...

Екатерина Алексеевна посмотрела на ее взволнованное лицо и ответила с уверенностью и спокойствием, каких не ожидала от себя:

— Готовить ничего такого не нужно! Владимир Ильич сообщил, что он хорошо позавтракал и есть будет попозже. А дальнейшее обсудим с доктором. Не волнуйтесь! Все будет в порядке.

Старшая повариха с уважением посмотрела на нее:

— Ну, если так, слава богу!

Весь корпус уже знал, кого положили в сорок четвертую. Во всех палатах сестру спрашивали, какая у Ленина болезнь, не опасная ли, долго ли будет здесь и нельзя ли хоть краешком глаза увидать его.

Она отвечала неторопливо, обстоятельно, понимая, как это нужно знать людям: опасного у Ленина ничего нет, вынимали застарелую пулю, и находиться здесь он будет недолго. Увидать его хотя бы краешком глаза, наверное, не придется, потому что доктора прописали ему полный покой. И все соглашались с нею, что это верно — беспокоить Ленина не надо.

Ближе к вечеру она зашла в сорок четвертую с градусником.

— Давно этим не занимался! — вздохнул Ленин.— Между прочим, никак не могу запомнить, на каком боку нужно лежать?

Когда градусник был снят, он сказал, плутовато щурясь:

— Больным, разумеется, не положено сообщать, какая у них температура, но, принимая во внимание мое хорошее самочувствие, нельзя ли полюбопытствовать?

— Тридцать шесть и семь!

— Спасибо, сестрица! Значит, есть надежда, что отпустят. А то ведь они знаете какие? Два-три лишних градуса — и сразу: «Э-э-э, придется вам еще полежать!» Вы уж, пожалуйста, поддержите меня в случае чего!

— Обязательно поддержу! — она хотела сказать «Владимир Ильич», но как-то не смогла.

Вскоре пришел доктор Розанов. В руках у него был объемистый пакет.

— Как наш больной? Температура? Ну, это совсем хорошо! Ни на что не жаловался? Пойдемте-ка, взглянем на него.

Он развернул пакет. В нем лежали книги.

— Только что вторично беседовал по телефону с вашей супругой и сестрой, Владимир Ильич! — сказал Розанов, входя в палату.— Передают приветы. Товарищ Семашко уже все им разъяснил. Они хотели обязательно вас навестить, но я взял на себя смелость и отсоветовал. «Скоро увидитесь»,— говорю...

— Премного вам благодарен,— оживился Ленин,— очень хорошо сделали. А то и в самом деле можно подумать, что я больной... И беспокойство им! А это что такое у вас? Литература какая-то?

— Поскольку чтение вам не возбраняется, прихватил тут кое-что... Не знаю, придется ли вам по вкусу?

Ленин нетерпеливо взял книги:

— Конан-Дойль! Давненько не читывал, давненько! «Солнце России» за десятый год! «Синий журнал»... гм, гм, тоже увлекательное чтиво! Где это вы раскопали?

— Да это, видите ли, залежалось у меня в книжном шкафу,— чуть смутясь, ответил Розанов.— Скажу по правде, Владимир Ильич, за новинками не слежу! Тут уж, как говорится, не до жиру... Успеть бы со своей специальной литературой ознакомиться!

— Понимаю вас! И у меня, можно сказать, такое же положение.

— Звонил герр профессор, требовал подробного отчета о вашем состоянии... Уже трудится в комиссии. Даже обедать не поехал в гостиницу, вот как!

— Ну, это напрасно. Обедать надо было его отпустить. Где же он питался?

— В наркомздравской столовой. И представьте себе, понравилось!

— Я очень рад, что не затянули с комиссией. Надо только наших-то всех вытащить, а то ведь кое-кто сумеет и попрятаться... А вам надо бы поменьше заниматься моей персоной!

— Это уж, Владимир Ильич, позвольте нам самим знать. Так каково же все-таки поведение больного, Екатерина Алексеевна? Вы мне так и не доложили.

— Отличное! — улыбнулась сестра.— Владимир Ильич (вот сказала наконец, и так легко и свободно), Владимир Ильич образцовый больной...

Стемнело. Матовое стекло сорок четвертой высветилось изнутри зеленым.

Пришел Розанов.

— Как?

— Зажег лампу. Читает... А я стараюсь не мешать!

— Посмотрим!

Высоко подняв подушку, устроив на коленях плотный комплект «Солнца России», Ленин писал что-то огрызком карандаша. Увидя вошедших, он кашлянул и зажал огрызок в руке.

— Ага, попались, Владимир Ильич! Так-то вы читаете? Интересно, откуда у вас бумага и карандаш? Или вам оказано снисхождение? — Розанов посмотрел на сестру.

— Что вы, что вы! — заторопился Ленин.— Не возводите напраслины на человека! Меня в строгости держат, куда там! Каюсь, сам виноват! Обнаружил чистый листок в вашем Конан-Дойле. А карандашик... ну тут что греха таить — пронес! Знаете, старый конспиратор! — Он по-озорному взглянул на Розанова.— А у вас, доктор, вид хотя и усталый, но, я бы сказал, вдохновенный!

— Делал операцию, Владимир Ильич. Трудную. На печени! Абсцесс!

— И как? — Ленин сел в кровати.

— Хорошо. Удачно. Большая радость... А теперь о вашем питании. Уже давно пора. Звонила Надежда

Константиновна, беспокоится, кормим ли мы вас! Я ей сказал, что в настоящий момент вы приступаете к трапезе. Екатерина Алексеевна, сообщите на кухню.

Минуты через две открылась дверь, вошла старшая повариха, застенчиво произнесла «здрасьте» и поставила на тумбочку поднос.

— Заманчиво выглядит! — сказал Ленин, внимательно посмотрев на сервировку.— Но это, ручаюсь, не по больничному меню! И посуда не больничная! И не уверяйте меня! Все равно не поверю!

Повариха встревоженно посмотрела на доктора.

— А я вас и не уверяю, Владимир Ильич. Это моя жена готовила. Могу я вас угостить своим домашним ужином?

— Ох, доктор, доктор, наказать бы вас надо. Я нахожусь в больнице и должен получать то же, что и все больные... Вот какой вы человек! Думаете, я позабыл ваш нагревательный прибор?

Случай, о котором вспомнил сейчас Ленин, был совершенно незначительным, но Владимир Ильич и тогда, и теперь думал об этом иначе. После того как он оправился после покушения, врачи-хирурги назначили ему обязательное и систематическое прогревание левого плеча и руки. В восемнадцатом году такую процедуру оказалось устроить нелегко, а ездить в лечебницу накладно в смысле времени. При содействии Розанова раздобыли электропечку и наладили прогревание на дому. И вдруг, уже в конце лечения, Ленин узнал, что сам подписывал декрет Совнаркома, запрещающий пользование электроприборами всех типов. Это вызвало у него крайнюю досаду. Окружающие доказывали, что он здесь ни при чем, что это врачебное назначение. «Да, но декрет-то я подписывал, и я же его нарушил»,— не мог успокоиться председатель Совнаркома...

— Спишем эту историю в архив за давностью времени! — отшутился Розанов.— А сейчас я бы вам порекомендовал не переутомлять себя чтением на ночь глядя. А уж писанину совсем оставить!..

Около двенадцати Розанов снова заглянул в дежурку.

— Спит уже два часа!..— почти неслышно сказала сестра, точно голос ее мог помешать спящему.

— Прекрасно! А вы как? Устали зверски?

— Нет! Ничуть не устала! Вот честное слово, правда! — добавила она, столкнувшись с недоверчивым взглядом Розанова.

Они на цыпочках прошли по коридору, остановились у сорок четвертой. Медленно, осторожно Розанов приоткрыл дверь. Темно. Слышно ровное, глубокое дыхание.

— Спит! — прошептал Розанов.— Замечательно!

Матовое стекло стало утренним, светлым, на нем шевелились расплывчатые солнечные пятна. Сестра подошла, послушала: проснулся как будто...

Она легко потянула двери и несколько секунд стояла с зажмуренными глазами. Нестерпимо яркие полосы света лежали на подоконнике, сиял голубой квадрат неба в распахнутом настежь окне.

— Доброе утро! — услышала она.— А я тут опять нахозяйничал. Взял да и открыл окошко. Проснулся рано, но выспался прекрасно. Вы посмотрите, весна-то! Теплынь какая!.. Вдруг! За одну ночь! Нет, вы посмотрите только!

Екатерина Алексеевна не была равнодушна к природе, весне, но, работая в больнице, не очень замечаешь даже лучшие дни. И сейчас она, пожалуй, впервые видела из больничного окна чудо раскрывшейся весны.

Ночью прошел хороший, «золотой» дождь, зеленые сердечки на старых тополях, стоявших, точно сторожа, по углам корпуса, еще не отряхнули прозрачных капель. Площадка перед окнами показалась незнакомой.

Она густо поросла молодой, неправдоподобно зеленой травой — такую траву рисуют дети цветными карандашами. Только местами выпирали из нее коричневые бугры, похожие на медвежьи шкуры, выставленные для просушки.

Человек шесть-семь выздоравливающих, подвернув халаты, сгребали к костру слежавшиеся прошлогодние листья, сушняк, щепки. Костер не горел, а курился, точно маленький вулкан, и дым от него пахнул прогретой солнцем лесной смолой, деревенскою баней и почему-то сухим грибом.

— Каково, а? — глаза у Ленина были широко раскрыты, и сестра заметила в них золотистые искорки.—

Небо, солнце, трава, костер — все точно по заказу! Знаете,— улыбнулся он, и глаза его сразу прищурились,— есть люди, которые в таких случаях обязательно говорят: «А вот нарисуй художник такую картину — и не поверят!»

Екатерине Алексеевне жаль было прерывать его, но в руке у нее был приготовлен градусник. Она села неподалеку, выжидая минуты, положенные на измерение температуры. Она смотрела на человека, который находился в шаге от нее: Ленин! Это Ленин! Владимир Ильич!

— Как там у меня, сестрица?

Она вздрогнула, потянулась за градусником.

— Тридцать пять и восемь!

— Тридцать пять и восемь? — повторил он обеспокоенно.— Это как считается у вас? Не ухватят меня за фалды?

— Для утра температура достаточно нормальная. Так, небольшой упадок сил...

— Ну, вы опять меня утешили! — Ленин посмотрел на нее, приподнялся на локтях.— Слушайте, я что-то не понимаю! Вчерашнюю ночь вы дежурили?

— Д-да! — растерянно ответила она.

— Я у вас со вчерашнего дня, а вы уже отдежурили ночь, так? И сегодняшнюю ночь тоже. И продолжаете дежурить. Как это получается? Когда же вы спите? — он нахмурился.— Выглядите вы очень плохо, прямо скажу. Вам отдохнуть надо. Обязательно!

— Владимир Ильич,— начала она, еще не зная, что скажет дальше, но тут явилось спасение. Послышался знакомый голос доктора Розанова. Он вошел в палату вместе с почтенным, выбритым до глянца господином — именно так хотелось его называть. Екатерина Алексеевна поняла, что это профессор Борхард. На его длинном, невыразимой белизны халате она заметила бурое пятнышко возле кармана. «Такой халат и носить страшно»,— подумала она.

Разговор шел теперь по-немецки. Были высказаны пожелания доброго утра, задавались вопросы о самочувствии.

— Разбинтуем! — сказал Розанов.

Борхард достал какие-то необычайные очки, похожие на пушечный лафет.

— По-моему, превосходно! — сказал Розанов.— Можно долечивать на дому. Как вы, профессор?

Борхард выдержал паузу.

— Можно! Но следить, следить...

— Будем следить!.. Минутку, Владимир Ильич. Так! А теперь забинтуйте, Екатерина Алексеевна.

Она начала сворачивать бинты, прислушиваясь к быстрому немецкому разговору, который вели Ленин и Борхард. Говорили они о врачебной комиссии. Ленин настойчиво выспрашивал, сколько человек осмотрено, какие у профессора впечатления, выводы. Заметно было, что и самому Борхарду необходимо высказаться.

— Я такого не встречал, нет,— говорил он, размахивая руками.— Эти ваши комиссары... Спорят до хрипоты с докторами, сами себе ставят диагнозы. Неслыханно! — он произносил эти слова с возмущенным видом, но в голосе его слышалось что-то другое.— Пятерым по крайней мере требуется вмешательство хирурга. Ходят с аппендицитами, контрактурами... с травматической аневризмой... Какая-то нечеловеческая выносливость!

Ленин помрачнел:

— Фамилии записаны? Мы их под конвоем отправим к хирургам! А вам, профессор, я очень признателен.— Он с трудом повернул шею к сестре.— Послушайте, сестрица, кажется, вы мне навертели бинтов в два раза больше, чем было! Надеюсь хотя бы, что это те же самые бинты, а не новые?

— Бинтов ровно столько же, Владимир Ильич,— улыбнулась сестра.— И они те же, что и были!

Она чувствовала, с каким нетерпением ожидает ее пациент, когда закончится вся эта процедура с бинтами.

— Теперь поведем ранку на тампоне,— сказал Розанов.— Будем приезжать к вам в гости для перевязки.

— Стало быть, все?

— Нет, Владимир Ильич, еще не все! При поступлении к нам вы скрыли некий факт, который не следовало бы держать при себе... По забывчивости или по умыслу — не знаю.

— Скрыл факт? Весьма интересно! Не объяснитесь ли?

— Позвольте ответить вопросом на вопрос? Какое число сегодня?

— Сегодня? — Ленин ответил не сразу.— Вот оно,

сбился со счета от безделья!.. Сегодня, я полагаю, двадцать четвертое апреля!

— Совершенно верно! А в наших руках вы со вчерашнего дня, когда еще фактически не окончился день вашего рожденья! Однако вы умолчали об этом, и мы были лишены возможности поздравить вас!

— Ах, вот оно что! — широко улыбнулся Ленин.— А я уже не знал, что и подумать. Да, действительно, стукнуло пятьдесят два! Домашние, кое-кто из товарищей поздравили, а потом совершенно из головы вылетело... Но и у вас меня все же поздравили: вынули пулю! Как-никак, а одной пулей меньше!

— Кстати, Владимир Ильич, что прикажете делать с этой пулей?

— Ничего не собираюсь приказывать,— Ленин махнул рукой.— Делайте что хотите.

Когда профессору Борхарду перевели, о чем шел разговор, он подошел к Ленину и торжественно произнес:

— О, я вас поздравляю! Пятьдесят два — это хороший возраст, крепкий возраст... Человек много знает и много может,— он помолчал, потом сказал отчетливо: — Я считаю за большую честь, что лично познакомился с вами... И встретился с моими русскими коллегами. И немного повидал столицу вашей страны!

Ленин пристально посмотрел на него, широким жестом протянул руку, и все видели, что рукопожатие это не было холодным, официальным.

«Берлинер Тагеблатт» — май 1922 года.

«...Из поездки в Москву вернулся наш земляк, известный профессор-хирург Борхард. У него здоровый, загорелый вид. Он отвечает на вопросы журналистов коротко, отрывисто, иногда сердится. Требует, чтобы ему показывали, как записывают его слова.

— Господа! — говорит он.— Пожалуйста, не задавайте мне политических вопросов, я врач и политикой не занимаюсь... Ленин? Да, я его видел, разговаривал с ним. Могу вам сообщить из достоверного источника, что он занимает одну комнату, где стоит кровать, несколь-

ко стульев, кресло, диван, письменный стол. На столе телефон и две школьные ручки. Ими он пишет. Больше ничего сообщить не могу...

Я вижу, господа, вас страшно интересует страна, где я побывал. Мой совет: раньше чем писать о ней — садитесь и поезжайте туда. Вас пустят, ручаюсь. Больше того, вас хорошо примут. В заключение еще один совет: опасайтесь больших чемоданов. Вы же не повезете их пустыми — «природа не терпит пустоты». Однако, чем больше вы их набьете в дорогу, тем больше будете потом раскаиваться».

Москва, Кремль,
25/IV 1922 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров

Т. Семашко!

Прошу Вас распорядиться об отправке в Крым в одну из тамошних санаторий сестры Солдатенковской больницы Екатерины Алексеевны Нечкиной для лечения и отдыха.

Не откажите сообщить мне копию Вашего распоряжения по этому делу, а если Вы встретите какие-либо препятствия к исполнению моей просьбы, то прошу черкнуть, в чем эти препятствия.

С ком. приветом Ленин.

ЩЕДРОЕ СОЛНЦЕ ИЮЛЯ

ГОРОД ЖДЕТ

Был жаркий июль двадцатого года. Еще повсюду видны были следы недавней боевой тревоги. Еще попадались на улицах баррикады и не везде убрали колючую проволоку.

Но война уже откатилась от стен Петрограда далеко на запад, к польской границе, и в газетах рядом с военными сводками стали появляться сводки с другого фронта, где главным словом был «труд».

Еще требовалось держать в руках винтовку, но прославленная Седьмая армия, дважды разгромившая войска Юденича, уже приняла иное имя — Петроградская революционная армия труда.

На вооружение ее поступили кирки и ломы, пилы и топоры. И так же, как во времена боев, на трудовом фронте остались неразделимы армия и рабочий Петроград.

Скромными были сводки этого фронта, помеченные двадцатым годом, но каждая их строка была утверждением, ростом, созиданием.

И не очень искусные стихи, которые печатались вместе со сводками, говорили о том же:

Фонари давно потушены,
А в мозгу сверлит, сверлит,
Семь домов еще разрушено,
Девять нужно остеклить.

Один за другим шли субботники. На окраинах, на пустырях зазеленели огороды. Ожил Ботанический сад. Впервые после тяжких годин в теплицах начали выращивать цветы, приводить в порядок скверы.

По домам ходили школьники — с тетрадкой, с огрызком карандаша,— брали на заметку тех, кто ставит крестики вместо подписи, сообщали адрес ближайших курсов ликбеза.

А в начале июня в Петроград пришла из Москвы волнующая весть: Второй конгресс Коммунистического Интернационала, созываемый в столице, начнет свою работу в городе Октябрьской революции.

Так было решено по предложению Ленина. Девятнадцатое июля объявлялось в Петрограде праздником, красным числом.

«Петроградская правда» в особой рубрике ежедневно сообщала о ходе подготовки к конгрессу. И даже сегодня, сквозь толщу десятилетий, эта подготовка кажется грандиозной.

Лучшие художники, архитекторы, скульпторы отдают ей свое вдохновенье. По их эскизам, проектам украшаются улицы, проспекты, набережные, Таврический и Смольный, Дворцовая площадь и Марсово поле.

Воздвигаются трибуны и торжественные арки, устанавливаются скульптуры, плакаты, лозунги. Садоводы готовят букеты, и самое большое место занимает среди них красная гвоздика — цветок революции.

На ступенях Фондовой биржи выросла исполинская эстрада. Здесь репетируют постановку-феерию «Два мира», в которой участвуют три тысячи исполнителей и тысячетрубный оркестр.

Лето двадцатого года — первое лето, когда враг не угрожал Петрограду,— было настоящим подарком не очень ласкового Севера. «Щедрое солнце июля» — так поэтически была названа в газете репортерская заметка об этой редкостной петроградской погоде.

В эти жаркие дни петроградцы часто встречались с человеком, которого нельзя было не заметить: высокий рост, на лице глубокие, точно высеченные, морщины,

густые соломенные усы. Его сразу узнавали: «Горький, Горький!»

Петросовет поставил Горького во главе армии искусств — той, что украшала город. И вот он неутомимо шагает по улицам и площадям, постукивая суковатой палкой, поглядывая внимательным, хозяйским глазом на его праздничное убранство.

ПУТИ-ДОРОГИ НА КОНГРЕСС

Двадцатый год принес страшные потрясения господам во фраках и лоснящихся цилиндрах — той самой «мировой буржуазии», которую так хлестко изображали советские карикатуристы.

Провалились все пророчества и предсказания о близкой гибели большевиков. Были выбиты самые главные тузы-козыри, которыми Антанта пошла на Советскую республику,— Деникин, Юденич, Колчак.

Новый козырь — пан Пилсудский — к июлю двадцатого года уже с явным трудом вел игру. Вся Польша была объявлена на осадном положении. Красная Армия заняла Барановичи, Вильно, Дубно, Гродно, приближалась к Варшаве.

Бесконечно трудными были пути-дороги в Советскую Россию. Только о немногих делегатах можно было сказать, что они ПРИЕХАЛИ на конгресс. Для всех остальных требовались другие слова: ПРОБИВАЛИСЬ, ПРОРЫВАЛИСЬ. Они пробивались и прорывались сквозь немыслимые препятствия. Пользовались всеми возможными и невозможными способами передвижения. Меряли пешком многоверстные расстояния. Пересекали линии фронтов, обходили посты, заставы и кордоны.

И эти мужественные люди, видавшие смерть, эти герои, которых трудно было заподозрить в излишней чувствительности, часто не могли сдержать волнения при виде красного флага и пятиконечной звезды на шлеме советского пограничника. Они сами рассказывали и писали об этом.

В июльские дни, предшествовавшие конгрессу, на улицах Петрограда можно было видеть темные, оливковые, шафранные лица делегатов Африки и Азии, их

дружелюбные, ослепительные улыбки. Они радовались тому, что и здесь, на Севере, бывает такое жаркое, щедрое солнце. Были среди делегатов и скандинавы, и немцы, и англичане, и чехи.

И все они с ненасытной жадностью всматривались в черты великого города, воспетого поэтами и писателями, запечатленного на полотнах художников, в бронзе и мраморе. Города, заново прославленного самой великой революцией, которая родилась здесь.

Этот город терпел жестокие невзгоды, был лишен многих благ и удобств, которые предоставлял людям двадцатый век, но он боролся за будущее и жил им.

Плакаты на стенах его домов еще кричали о войне с Пилсудским и сыпным тифом, разрухой и безграмотностью. И в то же время бережно охраняемые народом театры и музеи были переполнены. В библиотеках стояли очереди за книгами.

Коминтерновскому поезду из Москвы была открыта небывалая по тем временам «зеленая улица». Он мчался сквозь ночь почти без остановок.

Это был бессонный поезд. Никто в нем и не помышлял об отдыхе. Здесь велись нескончаемые разговоры, здесь жарко спорили, смеялись, пели песни. Происходили удивительные встречи: люди, знавшие друг друга по подпольной работе, впервые называли свои настоящие фамилии и как бы знакомились второй раз. Теперь, когда уже были преодолены опасные пути-дороги, можно было вспомнить их даже шутя.

Делегат австрийской компартии имел немалый опыт по части таких поездок. Он был участником Первого конгресса и добирался из Вены в Москву на крышах вагонов, в «собачьих ящиках» под ними, на буферах, паровозных тендерах.

На обратном пути ему удалось воспользоваться редчайшим тогда воздушным транспортом, но румынские орудия сбили аэроплан. Летчик и пассажир случайно остались живы. Делегата обвинили в шпионаже, отправили в лагерь смертников. Товарищи считали его погибшим. Через год он сумел убежать из лагеря.

— И опять еду на конгресс! Ага, что?! — задорно воскликнул он.

Джону Риду, автору недавно вышедшей в Америке книги «Десять дней, которые потрясли мир», сразу ставшей знаменитой, тоже пришлось испить до дна горькую чашу чудовищных мытарств.

Он ехал в пароходных трюмах, в вагонах для скота. Он замерзал, попадал в железнодорожные катастрофы, а последние три месяца своего странствования сидел в белофинской тюрьме, где его кормили сырой рыбой. К счастью, сведения о нем дошли до Москвы, до Ленина. Начались переговоры с правительством Финляндии. Рида обменяли на двух финских профессоров, арестованных в Петрограде за контрреволюцию.

Есть что порассказать и болгарскому делегату. Вместе с товарищем он пустился в плавание на рыбачьей лодке из Варны в Одессу. Черноморский шторм разбил их суденышко. С трудом возвратились они обратно на болгарский берег. Тут они снова раздобыли лодку, соорудили парус. И все-таки доплыли до советской границы, проскочив мимо румынской морской охраны и разбойничьих судов Врангеля.

Да, в коминтерновском поезде можно было услышать десятки историй, перед которыми бледной выдумкой казались повести и романы из библиотеки «Путешествия и приключения на суше и на море». А впереди было еще возвращение «по домам»...

Замечательный поезд везет делегатов в Петроград.

Через весь состав протянуто полотнище с четкой надписью: «Отремонтирован в честь Второго конгресса Коминтерна на коммунистическом субботнике».

На груди паровоза выгравировано четверостишие:

В бою с врагами не забудь —
Тебе мы дали имя «Ленин».
Пусть будет прям и неизменен
К коммуне твой победный путь.

В одном из вагонов едет Михаил Иванович Калинин, советский президент. Иностранцам не сразу удается привыкнуть к мысли, что перед ними — глава огромного государства. Но вскоре смущение проходит... Президент — рабочий, так и должно быть в республике Советов.

Калинин, что называется, ведет непрерывную пресс-конференцию, которая больше похожа на товарищеское

собеседование. Его ответы тут же переводит старая большевичка — Елена Дмитриевна Стасова, которую Ленин называет «язычницей» за превосходное знание многих европейских языков.

А где сам Ленин? Известно, что в этом поезде его нет. Говорят, что он приедет позже. Неотложные государственные дела задерживают его...

Все население поезда приникло к окнам. Уже проносятся мимо петроградские пригороды. На станциях, полустанках люди машут руками, шапками, кепками, флажками. Висят приветственные лозунги собственного изготовления — вперемежку печатные и прописные буквы, неровные строчки, и это выглядит особенно трогательно.

Петроградцы ждут гостей на площади Восстания. Щедрое солнце июля не изменило. Оно плавится в серебре и меди труб, вспыхивает на знаменах и красных платочках, улыбающихся, радостных лицах. Автомобилей в городе считанное число. Мобилизован весь трамвайный парк. Трамваи украшены цветными лампочками. Под гул приветствий делегаты рассаживаются по вагонам и едут в Смольный. Встречавшие их колонны сворачивают с площади на Старо-Невский, затопляют Суворовский проспект. Кажется, весь Петроград движется к Смольному.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОЕЗД

На платформе вокзала ожидают следующий поезд. Тут старые партийцы, работники Петроградского комитета, заводские и фабричные делегации. Все напряженно вглядываются в легкие дымки на дальних путях.

Поезд, который приближается к Петрограду, не праздничный, а обыкновенный, пассажирский. Люди спят, закусывают, беседуют о том о сем. Привычная дорожная жизнь. Из вагона в вагон переходит контролер, старательно щелкая компостером.

Вот он заглянул в купе, где оживленно разговаривает группа пассажиров самого скромного вида. Один из них протягивает контролеру удостоверение на право проезда по всем железным дорогам республики.

«Предъявитель сего,— читает контролер,— Председатель Совета Народных Комиссаров тов. Ульянов-Ленин В. И...»

Ленин приехал в Петроград.

Среди ожидавших на платформе находился и оркестр. Все поглядывали на него с улыбками. Оркестр и в самом деле был не совсем обыкновенный. Старшему из музыкантов, трубачу, исполнилось, вероятно, лет четырнадцать. Младшим тут считался, наверное, барабанщик, который был одного роста с барабаном. Впрочем, надо заметить, что барабан этот был вполне приличных размеров.

Как и все на платформе, музыканты тоже посматривали, когда появится поезд, и было очень заметно, что они волнуются, ожидая своей минуты. Иногда, будто случайно, тихо звякали медные тарелки, хрипло вздыхала труба, погромыхивал, точно дальний гром, барабан. Дирижер — единственный взрослый человек в оркестре — грозил пальцем: «Тихо! Не баловаться!»

Как-то неожиданно быстро вынырнул паровоз. Все бросились к вагонам. В этой сутолоке оркестранты немного растерялись, но почти сразу к ним подскочил какой-то военный: «Ребятки, за мной!» Ребятки побежали по деревянной платформе. «Стой здесь!» — скомандовал военный.

Оркестр тотчас же построился, музыканты вскинули трубы, ожидая дирижерского знака. И тут они увидели, как из вагона вышел человек, которого с таким нетерпением ожидал праздничный город. Надо было немедля грянуть «Интернационал», но оркестранты, вместе с дирижером, засмотрелись, упустили момент. И разве можно было обвинять их в этом?

К Ленину подошли работницы в красных кумачовых платочках и протянули огромный яркий букет. Видно было, как Владимир Ильич развел руками, точно не решаясь взять такую громадину. Вокруг него сомкнулась толпа встречающих.

Дирижер спохватился, поспешно взмахнул рукой, и звуки «Интернационала» заглушили вокзальный шум. Оркестр играл стройно, слаженно. Пожалуй, только барабанщик старался чуть больше, чем следует, но и это не портило музыки.

Некоторое время музыканты ничего не видели сквозь тесную толпу, но вот она заколебалась, раздвинулась. С букетом в руках Ленин шел вдоль поезда. Он был без пальто, в кепке, похожий и непохожий на свои портреты.

Дирижер подал знак, и трубы дружно закончили мелодию.

— Это путиловцы, Владимир Ильич! — сказал кто-то из сопровождавших Ленина.— У них своя музыкальная школа...

Путиловская школа уже имела свою недолгую, но замечательную историю. Это о ней говорили с Лениным путиловцы в ноябре семнадцатого года. Сначала они обратились в губернский отдел народного образования, который назывался сокращенно «губоно»: «Помогите открыть художественную школу, где дети рабочих будут учиться музыке, рисованию и всяким иным искусствам!»

В губоно путиловцам объяснили, что идея, конечно, прекрасная, заслуживающая всякого одобрения, но время сейчас не такое: придется обождать до лучших дней...

И тогда путиловцы пошли к Ленину.

Выслушав их, Ленин сказал, обращаясь ко всем, кто находился у него в кабинете:

— Слышите, что хотят путиловцы? Они хотят, чтобы их дети стали культурными людьми, а им доказывают, что сейчас не такое время, надо ждать... Нет, ждать не надо! Время сейчас такое, именно такое!

Так, несмотря на все тяготы тогдашней питерской жизни, была создана первая в Советской стране рабочая художественная школа. И сейчас, в июле двадцатого года, собственный оркестр этой школы встречал Владимира Ильича.

Проходя мимо оркестра, он чуть задержался, протянул дирижеру свой тяжелый пышный букет и широко провел рукой, как бы желая сказать: «Это на всех».

Он спешил. Его всюду ждали: и в Смольном, и в Таврическом, и на Марсовом поле, и на Дворцовой площади.

Приветственно помахав оркестру, Владимир Ильич пошел дальше, а вслед ему катились волны веселого, громкого марша.

«ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬ»

Площадь перед Смольным кипит, волнуется, ждет. Все уже знают, что Ленин приехал, что он сейчас в актовом зале вместе с делегатами. Отсюда конгресс перейдет в Таврический дворец, где откроется его первое заседание.

А с боковых улиц вступают на площадь все новые и новые колонны. Распорядители, с широкими красными лентами через плечо, указывают, где встать, чтобы остался свободным широкий проход. Нестройно пробуют голоса трубы оркестров. Кажется, что сам воздух празднично звенит.

Небо над площадью вдруг темнеет, все смотрят вверх — что там? В Питере случаются такие оказии — только что просвечивал бирюзой небесный купол, и вот уже все охвачено серыми лохматыми тучами.

Так и сейчас. Грозно насупились небеса. Лишь одно окошечко голубеет в них минуту-другую; в него сунулся лучик как робкий проситель, но окошечко захлопнулось. На землю упали первые капли дождя. Что ж, если покапает и пройдет, это даже неплохо, но если всерьез...

И, словно понимая, что такой день бывает один раз в жизни и его нельзя омрачать, тучи убираются так же быстро, как и появились. Снова победно светит июльское солнце.

Много было волнующе-незабываемого в этот день, но почему-то у всех, кто был тогда на площади перед Смольным, остался в памяти этот короткий июльский дождь. О нем писали в газетах, вспоминали много лет спустя...

Неожиданно, разом заставив всех повернуться, у ступеней Смольного зазвучали трубы, и музыка, точно пламя, стала перекидываться от оркестра к оркестру. Глаза еще ничего не различают в отсветах красных полотнищ, в трепетании солнечных бликов, потом становится видно, как проходят люди сквозь первую арку. Резко выделяются халаты необычайных расцветок, снежно-белые чалмы, бурнусы.

И где-то среди этой расточительно пестрой толпы идет невысокий человек в скромном костюме, в кепке, с красным бантом в петлице. Тысячи жадных, востор-

женных взглядов скрещиваются на нем, дождем сыплются гвоздики. Одна из них повисает у Ленина на плече. Он бережно снимает ее, несет в руке.

На всем пути от Смольного до Таврического рядами стоят школьники, красноармейцы, краснофлотцы, а за ними теснится народ Петрограда. Шумные приветствия заглушают музыку оркестров.

Ленин идет по этому живому коридору, улыбчиво щурясь, разговаривая на ходу, пожимая десятки рук, а кругом него возникают все новые и новые спутники. В этом же кругу шагает и Джон Рид с блокнотом и карандашом в руках...

В литературном наследии Рида сохранился этот блокнот с мгновенными записями того июльского дня:

«...Ленин. Очень разный и в то же время всегда именно он... Разговаривает с Кабакчиевым, глубокое уважение... Быстрые движения, не суетлив: быстрота создается экономной точностью жеста... Весь обращен ко всем, всем, всем... Удивительные глаза: добродушно-лукавые, прежде всего умные, на солнце кажутся золотыми... Когда он говорит, он действует...»

Шествие двигается по Шпалерной. Осенью семнадцатого года Владимир Ильич шел по ней в Смольный из своего последнего подполья в парике, с повязанной щекой. Сейчас он оживленно разговаривает с окружающими, ласково поглядывая на сестру свою Марию Ильиничну, идущую рядом с Горьким.

За оградой, у подъезда Таврического дворца, стоит плотная толпа. Тут и питерцы, и делегаты конгресса, школьницы, школьники. Немного в сторонке пристроился с киноаппаратом Эдуард Тиссе — тот, что позже вместе с Эйзенштейном создаст знаменитый фильм «Броненосец «Потемкин».

Сейчас Тиссе очень обеспокоен. В прошлом году он уже снимал Ленина в Москве. Тогда на Красной площади с трибуны-грузовика Владимир Ильич негромко, но отчетливо сказал кинооператору:

— Вы, товарищ, не меня снимайте, а вот их, вооруженных рабочих. Это гораздо важнее...

И сегодня предстоит нелегкая задача: оставаться по возможности незаметным.

Те, что ждут Ленина у подъезда Таврического дворца, тоже озабочены: как-то получится с приветствием?

Известно, что Владимир Ильич всего этого недолюбливает. Кто-то придумывает «военную хитрость». Приветственные слова скажет вот эта золотоволосая девочка, она же вручит и букет. Все знают, как любит детей Владимир Ильич.

И вот на аллее, ведущей к дворцу, показывается Ленин с группой делегатов. Подойдя ближе, он задерживает шаг. Опять, наверное, придумали что-нибудь высокопарадное. И в эту минуту к нему подходит девочка с букетом.

— Как? Опять букет?! — восклицает Владимир Ильич, но глаза у него сразу смягчаются при взгляде на золотоволосую девочку.

Она говорит чуть дрожащим голоском:

— Товарищ Ленин... примите наш петроградский привет... от школ и детских домов...

Владимир Ильич берет протянутый букет.

У Тиссе дело в полном порядке. Он даже придвинулся ближе и беспрепятственно вертит ручку аппарата.

Навсегда остались эти кадры. Улыбающийся Ленин с букетом роз. Товарищ, стоявший рядом, хочет ему откозырять. Ленин отводит его руку вниз — не надо, для чего? Шутливо отмахивается от приветствий.

А вокруг — радостные лица, щедрый июльский день.

ВЕРШИНА ДНЯ

В бумагах Ленина осталась незаконченная и неозаглавленная статья. В ней имеются такие строки:

«Тяжелый, скучный и нудный день в изящных помещениях Таврического дворца... вдруг пришлось перенестись в «чужой мир», к каким-то пришельцам с того света...»

И тут же, рядом, упоминается Смольный, где кипит «живая, настоящая, советская работа».

Строки эти относятся к пятому января восемнадцатого года, когда в Таврическом дворце первый и последний раз заседало так называемое Учредительное собрание, на котором присутствовал Ленин.

С той поры все изменилось в этом дворце, ставшем собратом Смольного. В нем заседает Петроградский Совет, созываются митинги, собрания.

А сегодня здесь открывается Второй конгресс Коминтерна.

О Первом конгрессе Ленин сказал, что на нем было водружено лишь знамя Коминтерна. И вот спустя пятнадцать месяцев под этим знаменем уже сошлись тысячи и тысячи революционных бойцов.

В зале Таврического дворца заняли места делегации из сорока стран Старого и Нового света. И этому залу довелось услыхать такие овации, каких здесь еще никогда не бывало.

Первая овация разразилась как буря, когда Ленин устремился по центральному проходу в президиум.

Вторая грянула с новой силой через несколько минут, когда Ленин неожиданно спустился по ступеням президиума и подошел к пожилому седобородому человеку. Это был Шелгунов, старый большевик, друг Владимира Ильича.

Они обнялись, и весь зал от души аплодировал этому искреннему проявлению дружеских чувств.

Третью овацию — самую пламенную — Владимиру Ильичу пришлось перенести, когда председатель объявил, что слово имеет товарищ Ленин.

Сотни людей поднялись с мест, приветствуя великого коммуниста, чье имя стало легендой уже при жизни.

Не было такого уголка на планете, куда не дошло бы оно — ясное, звонкое, одинаково звучащее на всех языках. Его давали детям Италии и Аргентины, Индии и Египта. Его писали на стенах казарм и тюрем, где томились борцы за свободу, даже на дверях Ватикана. Полиция смывала его, но оно появлялось снова.

И то, что этот сказочный человек, признанный вождь трудового человечества, был так прост, скромен и сердечен, делало овацию еще громче и восторженнее. Она ширится, вырастает, гремит орудийными залпами.

Докладчик вопросительно смотрит на председателя, вынимает часы, выразительно показывает их залу, снова поворачивается к президиуму, как бы желая сказать: «Примите же какие-нибудь меры!»

Стенографистки получили непредвиденный отдых. Можно не торопясь записывать в отчете:

«Шумная овация. Весь зал встает. Оратор пытается говорить, но аплодисменты и возгласы на всех языках продолжаются. Овация длится долго».

Невозможно остановить этот мощный поток, пока он сам себя не исчерпает. Наконец такой момент наступает, и докладчик может начать говорить. Он говорит, почти не заглядывая в свои записки. Шутка, ирония часто вплетаются в его речь.

Вот он сообщает слушателям, что в Англии вышла книга, где перечислены государства, торжественно обещавшие завоевать Москву и Петроград. Английское правительство отпускало им кругленькие суммы на это мероприятие, а теперь горестно подсчитывает свои неоправдавшиеся расходы...

Зал грохочет смехом. Что и говорить, Советы имеют право посмеяться над незадачливыми буржуазными политиканами!

В середине доклада в левой части зала вдруг что-то взрывается. Все вскакивают. Бомба? Покушение?

Ленин останавливается на полуфразе, спокойно ждет, пока выяснят, что произошло. Оказывается, один из кинооператоров уронил большую электролампу. Зал успокаивается, и докладчик продолжает с того же слова, на котором остановился.

Только в самом конце доклада, когда Ленин произносит слова о неизбежной победе многомиллионных трудовых масс, у него прорывается широкий призывный жест. Он высоко поднимает руки, голос звучит громко, торжественно. Снова могучая овация, точно лавина срывается с высокой горы. Но теперь у докладчика есть возможность покинуть трибуну, доклад закончен. Ленин быстро усаживается где-то в задних рядах президиума.

Председатель объявляет перерыв.

Доклад Ленина на Втором конгрессе Коминтерна был огромен по охвату.

Это — и обзор международной обстановки, и критика ошибок молодых компартий, и опыт Октябрьской революции, и то, что достигнуто в мировом коммунистическом движении, и его задачи на будущее.

И сейчас, когда перечитываешь этот доклад, кажется невероятным, что выступление Ленина продолжалось всего один час.

АЛЬБОМ В КОЖАНОМ ПЕРЕПЛЕТЕ

Этот альбом хранится как драгоценная реликвия. На обложке надпись: «Делегаты конгресса о товарище Ленине. 19 июля 1920 года».

Кто первый подал мысль о нем? Или она пришла в голову многим?

Это осталось неизвестным. Лишь одно бесспорно: такой документ не мог не появиться, он должен был появиться!

Слишком яркими и волнующими были впечатления этого дня, встреча с человеком, который был его блистающей вершиной, чтобы не вспыхнуло неодолимое желание тут же, не медля, сказать, написать хоть несколько слов...

Так возник этот альбом, где запечатлены взволнованные голоса участников конгресса.

На его страницах — латинские буквы, китайские и японские иероглифы, арабская вязь.

Здесь есть короткие записи, похожие на изречения. Есть слова о том, что запало в душу сегодня, и размышления о будущем, которое открывает Ленин народам мира.

Есть попытки выразить чувство в стихах и четкие словесные рисунки, изображающие Ленина — человека и вождя.

На первом листе альбома — слова Джона Рида:

«Ленин — такой простой, такой гуманный и в то же время такой дальновидный. Ленин — локомотив истории».

Пишет ирландский делегат:

«Я нагнал Ленина и прошел вместе с ним от Смольного до Таврического дворца. Этот обладающий величайшей властью коммунист оказался исключительно сердечным и симпатичным товарищем, какого только можно представить!»

Кратки, точно телеграмма, слова англичанина:

«Ленин далеко смотрит. Знает, что требует и как этого добиться».

Французские делегаты свидетельствуют:

«Произнесение его имени на собраниях вызывает восторженные крики «браво». Да, Ленин символизирует

революцию, и этим объясняется тот факт, что даже те, которые знают его только по имени, всей душой любят его и восхищаются им...»

Клятвой звучат слова чешских делегатов:

«Через все препятствия, в борьбе не на жизнь, а на смерть — за Лениным!»

Замечательные штрихи к ленинскому портрету добавляет делегат из Шотландии.

«...Ленин — человек, которого в настоящее время больше всего любят и больше всего ненавидят на всем земном шаре. То, что он достоин любви, ясно для всех, кто его видел...

Его фотографии не дают правильного представления о нем. Они не могут передать доброту, которая светится в его глазах, они не могут отразить его богатейшее чувство юмора. Поистине удивительно, что человек, вся жизнь которого прошла в борьбе, смог сохранить способность так ценить хорошую шутку или остроумный ответ... Да, рабочий класс может считать себя счастливым, что его главным вождем является столь великий и столь гуманный человек. Мы чтим, мы любим его. Как говорят шотландцы: «Пусть долго дымится труба его дома!»

Далеким, таинственным был тогда для нас Восток, но и его посланцы были участниками конгресса, и вот их мысли в альбоме:

«Сильный человек, который пробудил новые надежды также и в сердцах народов Востока и жизнь которого — осуществление на практике изречения: «Смелый, потому что справедливый».

«Ленин — самый благородный представитель человечества! Возвышенные идеалы он бесстрашно претворяет в жизнь. Деяния его чисты».

Сказали свои слова и советские делегаты:

«Ильич — тот революционер, о котором так горячо и убедительно писал незабвенный Чернышевский: «Не тот революционер, который работает только до совершения революции, а потом почивает на лаврах, а тот, который после революции не знает ни отдыху, ни сроку». Сметая с пути весь отживший свой век старый хлам, Ильич трудится над созданием нового, светлого и общечеловеческого».

И, точно собрав воедино то, что думают о Ленине

миллионы, что они желают ему, написал рабочий-бакинец, присутствовавший на конгрессе:

Слух о тебе слышен далеко,
Но сегодня мы тебя близко узнали...
. . . .
Бедные люди во всем мире
Начали следовать твоему слову...
. . . .
Живи, наш Ленин, так,
Как желает тебе наше сердце!

НОВЫЕ ХОЗЯЕВА

Ровно за месяц до открытия Второго конгресса Петроград отметил одно событие, которое не имело такого планетарного размаха, как конгресс Коминтерна, но значение его было очень велико.

Открылись первые дома отдыха. Торжество открытия состоялось двадцатого июня на Каменном острове. Петроградские газеты на самых видных местах печатали программу празднества:

«Митинг на открытом воздухе.

Театральное зрелище «Блокада Советской России» с участием артистов драмы, комедии, балета и красноармейских частей. Выступление хора.

Состязание в гребном спорте.

Играют флотский и военный оркестры.

Вход свободный для всех».

И в самом конце — добавление, которое сразу переносит нас в двадцатый год: «Обратный проезд обеспечен на паровозах и пароходиках по Неве. . .»

Ленин не смог из Москвы приехать тогда на этот замечательный праздник. Но теперь он все же выкроил время из своего неимоверно уплотненного дня, чтобы посетить первые дома отдыха рабочих.

Еще задолго до Октября Владимир Ильич мечтал о таких домах. Даже в подполье, скрываясь у сестрорецкого рабочего Емельянова, он говорил: «Когда возьмем власть, обязательно устроим дома, где будут отдыхать те, кто трудится».

И вот «жемчужное ожерелье Северной Пальмиры», как именовали знаменитые петербургские Острова дореволюционные справочники, стало таким местом отдыха.

В великолепных особняках и дворцах, которые строила для себя придворная знать, банкиры и фабриканты, поселились питерские рабочие и работницы.

Среди спутников Ленина был товарищ Анцелович, председатель Петроградского Совета профессиональных союзов. Ленин попросил его возглавить их группу — тем более что профсоюзы являются хозяевами этого острова отдыха. Анцеловича знали многие из отдыхающих, и группу, в которой затерялась скромная фигура Ленина, принимали за одну из профсоюзных комиссий, которые бывали здесь не раз.

Так были осмотрены ближайшие дома.

Вот особняк, который отстроил себе бывший «резиновый король» Недшеллер — один из владельцев фабрики «Треугольник». В семнадцатом году «резиновый король» удрал за границу, фабрика стала называться «Красный треугольник», а среди отдыхающих на бывшей вилле «короля» немало рабочих и работниц этой фабрики...

В гостиной девушка в ситцевом платье тихонечко подбирает на рояле по слуху какой-то мотив. Несколько пожилых рабочих дремлют с газетами в креслах-качалках.

На расчищенной площадке сражаются в городки. Слышны азартные выкрики: «Эх ты, мазила!»

Владимир Ильич сам большой любитель этой игры. Очень интересно понаблюдать за играющими, но хочется успеть осмотреть еще несколько домов, и «профсоюзная комиссия» отправляется дальше.

Еще недавно все эти роскошные дворцы и дачи были в запущенном, нежилом состоянии. Но у новых хозяев этих домов есть в руках уже проверенное и испытанное средство, о котором один иностранный журналист писал так:

«Какой маховик труда — эти ваши удивительные субботники!»

Новые хозяева восстановили разрушенное, привели в порядок пустовавшие дворцы и дачи. Всюду прибрано, подметено, окрашено, отремонтировано. Ухожены клумбы, благоухают цветы. В стеклянных садовых шарах отражается голубой и зеленый мир Каменного острова.

В одном из домов «комиссия» заглянула на кухню. Ленин с интересом читал меню. «Решающее» блюдо

в нем, разумеется, крупа. Но она представлена в самых разнообразных формах: пшенные биточки, овсяный пудинг, перловая запеканка и даже манные пирожные.

Владимиру Ильичу шепнули, что здешний главный повар работал до революции у графа, бывшего владельца особняка, мог уехать с ним в Париж, но отказался. Видно было, что Владимир Ильич доволен и поступком бывшего графского повара, и тем, что скудный пищевой рацион подают здесь как можно привлекательнее.

Главный повар охотно рассказывал:

— Трудно с продуктами, но стараемся. Сегодня так изловчишься, завтра этак. Супец варим с солониной, с крупкой, и больше ничего нет. А если сочинить какую-нибудь приправу, то другой и цвет, и вкус. Из солонины делаем котлеты с подливкой. Едят — похваливают.

...Алексей Максимович Горький рассказывал, что у него вышел однажды с Лениным такой разговор:

«...Как-то в Москве прихожу к нему, спрашивает:

— Обедали?

— Да.

— Не сочиняете?

— Свидетели есть — обедал в кремлевской столовой.

— Я слышал — скверно готовят там?

— Не скверно, а могли бы лучше!

Он тотчас же допросил: почему плохо, может ли быть лучше? И начал сердито ворчать: «Что же они там умелого повара не могут найти... Я знаю, что продуктов мало и плохи они — тут нужен искусный повар». И процитировал рассуждения какого-то гигиениста о роли вкусных приправ в процессе питания и пищеварения. Я спросил:

— Как же это вы успеваете думать о таких вещах?

Он тоже спросил:

— О рациональном питании?

И тоном своих слов дал мне понять, что мой вопрос неуместен».

Да, для Ленина не было неуместных вопросов, когда речь шла о здоровье тех, кто трудится. Он успевал думать обо всем...

—

Уходя, Владимир Ильич сказал главному повару:

— Вы и других обучайте, делитесь своим уменьем!

— А тут все мои ученики,— не без гордости ответил повар.

По дороге в библиотеку Ленин говорил спутникам:

— Если к делу прикладываются руки, а к рукам еще и ум — всегда можно ожидать дельного результата.

В библиотеке он молча, как-то особенно бережно перебирал книги — вечные спутники его жизни.

Книг было много, в комнатах лежали еще неразобранные пачки.

— Интересно, какие книги больше спрашивают?

— Пушкина, Гоголя, Льва Толстого, Тургенева, Чехова, Горького,— отвечает библиотекарша.

Владимир Ильич доволен. Особенно понравилось ему, что в домах отдыха постоянно устраиваются громкие читки: есть люди, еще непривычные к книге, есть и просто не умеющие читать.

После библиотеки пошли к лодочной станции. Жара начинала спадать, с Невы потянуло прохладой. Всегда серо-свинцовая, она точно повеселела, отражая безупречную голубизну неба.

Десятки лодок скользили по ней. Расправив легкие паруса, медленно уплывали в залив яхты.

Владимир Ильич присел на прогретые солнцем сходни. Спутники расположились здесь же. Почти неслышно плескалась вода у берега, поскрипывала пристань.

Но, конечно, не мог Владимир Ильич так долго оставаться неузнанным. К пристани потянулся народ.

Еще здравствуют поныне несколько человек, которые отдыхали тогда на Каменном острове. Память их до мелочей сохранила эту неожиданную радостную встречу.

«Видно было,— вспоминают они,— что Ленин ничуть не огорчился тем, что его «открыли».

Сразу же завязался доверительный, дружеский, откровенный разговор. Говорили о войне с Польшей, о Коминтерне и о сапогах, которые частенько «просят каши», а новые добыть нелегко.

Какой-то парень сказал, что нигде нынче не достать гармони или баяна, а ведь и это нужный предмет.

Владимир Ильич улыбнулся, ответил, что, конечно, нужный. Вот поубавится работы у тульских оружейников, Тула будет делать прославленные свои «тальянки» и самовары; Вязьма — пряники; Иваново-Вознесенск — ткать больше ситца и миткаля. И уже недалеко то время, когда русские города вернут себе былую мирную славу.

Ленин не только отвечал на вопросы, но и сам о многом спрашивал. И все сошлись на том, что как ни тяжела еще жизнь, а ясно видно движение вперед, к лучшему. Взять хотя бы эти дома, в которых отдыхает сейчас почти что тысяча рабочих и работниц.

А потом все пошли провожать Ленина к машине. Владимир Ильич с сожалением посмотрел на часы. По распорядку дня — время ехать на Марсово поле, где соберутся делегаты конгресса, чтобы почтить память погибших и возложить венок на могилы павших бойцов.

КОРОТКАЯ ОСТАНОВКА

С Каменного острова машина идет по главной магистрали Петроградской стороны — Каменноостровскому, ныне Кировскому, проспекту. После Октября у него появилось новое имя, придуманное поэтами: улица Красных Зорь. А вокруг, куда ни кинешь взгляд,— знакомые дома, знакомые улицы, очень близко знакомые.

И наверное, первый раз за весь этот напряженный, до краев переполненный день Владимир Ильич отдает несколько минут только себе — себе и Марии Ильиничне, которая сидит рядом.

Он просит шофера проехать по Широкой улице. Она близко, чуть в сторону от прямого пути.

Машина довозит своих пассажиров до угла Широкой и Газовой, где высится дом необыкновенного вида, и останавливается возле него.

Две стены этого затейливого дома поставлены под острым углом и образуют как бы нос огромного океанского парохода. Балкончики-шлюпки довершают сходство. Дом так и называют: пароход.

Здесь незадолго до Февральской революции жила с дочерьми Мария Александровна, мать Владимира

Ильича. Только года не дожила она до возвращения сына из эмиграции.

Сестры Ильича еще оставались в этом доме некоторое время после свержения самодержавия, сохраняя комнату матери такой, как при ее жизни.

Сюда, на Широкую улицу, которая станет потом улицей Ленина, и приехали в апреле семнадцатого года Ленин и Крупская. Здесь они и прописались после долгой разлуки с родиной.

Пришел старший дворник с домовой книгой, чтобы опросить новых жильцов. Среди вопросов, необходимых для прописки, имелся и такой: где служите и на какие средства живете?

Пришлось призадуматься.

— А как у вас пишутся те господа, которые не служат? — спросил Владимир Ильич.— Ведь таких много?

— А как же! — ответил дворник.— Которые господа почтенные и неслужащие, те живут на капитал.

— Ага, отлично. Значит, так и запишите: живет на капитал, а жена состоит при муже.

Так Владимир Ильич стал «капиталистом», и домашние немало шутили по этому поводу.

Три месяца — апрель, май, июнь — прожил он в доме на Широкой улице. Отсюда он уходил или уезжал на съезды, совещания, собрания, фабрики, заводы, в редакцию «Правды». Писал здесь статьи. Встречался с товарищами.

А в начале июля, как и при царе, пришлось уходить в подполье. Озверелые юнкера Керенского, нагрянувшие сюда, все перетрясли и перевернули, заглядывали даже в шкафы, сундуки, чуланы, разыскивая «государственного преступника Ульянова-Ленина»...

В первые годы революции движение по Широкой улице не было особенно оживленным. Тут царила почти сельская тишина. Сквозь булыжники мостовой проросла густая ярко-зеленая трава. Дом-пароход пооблез и казался необитаемым.

Владимир Ильич и Мария Ильинична не заходили на свою квартиру. Постояли возле дома молча, потом Ленин сказал шоферу:

— Ну что ж, поехали!

МАРСОВО ПОЛЕ

После революции Марсово поле стало излюбленным местом для митингов, демонстраций и празднеств победившего народа. Здесь был воздвигнут памятник из суровых гранитных плит. Но вокруг памятника, как и раньше, оставалось безликое песчаное поле.

Первомай двадцатого года был днем его нового рождения.

На Марсовом поле состоялся огромный субботник. Тысячи петроградцев пришли сюда, шумно разобрали заступы, ломы, лопаты, кирки — и зазвенела под дружными ударами кремнево упорная земля.

Тысячи рук неустанно дробили слежавшийся вековой пласт. Грузовики привозили черную влажную землю с окраин — новый покров для площади Жертв Революции. Садовники показывали, как сажать деревья, цветы.

А в июле площадь Жертв Революции — так стали называть Марсово поле — уже была сплошным зеленым садом...

Ленин и его спутники приехали сюда немного раньше манифестации, которая выходила в это время из Таврического дворца. Старое Марсово поле Владимир Ильич знал хорошо, несколько раз выступал тут с наскоро сколоченных трибун в первые месяцы семнадцатого года.

Площади Жертв Революции он еще не видел и с интересом осматривал ее. Как прекрасно разместился этот новый сад среди привычных глазу старых петербургских зданий!

И кажется, что давно уже растут здесь эти деревья, и кусты сирени, и празднично яркие цветы на клумбах.

Народу на поле еще немного. Шеренги моряков растянулись от Троицкого моста до Инженерного замка. Немало тут людей с фотоаппаратами: допотопные «киношарманки», громоздкие ящики на треногах.

Нельзя не помянуть благодарным словом этих фотолетописцев первых советских лет. Многого не увидели бы мы без их самоотверженного труда. А сейчас, спустя десятилетия, мы видим Марсово поле двадцатого года, Ленина внутри гранитного квадрата у могил товарищей, погибших в боях за революцию.

Вот он стоит в своей характерной позе, заложив

пальцы в проймы жилета, оглядывая знакомое поле, ставшее незнакомым. Вот идет по центральной дорожке, щурясь от солнца, кепка надвинута, пиджак расстегнут.

Художник Бродский уже давно мечтал нарисовать Ленина с натуры. Сегодня, находясь в зале конгресса, близко от трибуны, с которой говорил Ленин, художнику удалось сделать его карандашный портрет.

А сейчас появилась еще одна счастливая возможность — попросить у Владимира Ильича автограф.

— По-моему, я здесь на себя не похож, — заметил Ленин, взглянув на рисунок.

Но окружающие не согласились с такой оценкой: сходство схвачено. Портрет безусловно удачный.

Ставя свою подпись, Владимир Ильич усмехнулся:

— Первый раз в жизни подписываю то, с чем не согласен.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДВОРЦОМ

Величественная манифестация пришла на Марсово поле. Впереди нее делегаты конгресса несут саженный траурный венок из дубовых листьев и роз. Гремят пушечные салюты с верков Петропавловской крепости. Когда возлагают венок, над полем рокочет траурный марш. Тысячи рук единым движением обнажают головы...

А потом человеческая река с оркестрами и знаменами течет дальше, на Дворцовую площадь.

Здесь все осталось по-старому, таким же, как тогда, в ночь штурма. Угрюмые багрово-красные стены Зимнего еще хранят следы пуль. Только трибуны и флаги оживляют сегодня площадь.

Неутомимый Тиссе на посту. И, как в прошлом году, в Москве, поднимаясь по ступенькам трибуны, Ленин бросает быстрый взгляд на его «шарманку».

— Опять будете снимать?

На этот раз вопрос звучит добродушно.

— Непременно буду, Владимир Ильич, — весело отвечает Тиссе.

...О митинге на Дворцовой площади есть немало воспоминаний, но, пожалуй, самое выразительное принад-

лежит редактору «Роте Фане» — газеты коммунистической партии Германии.

Написанное много лет назад, оно с замечательной яркостью воскрешает тот далекий день на площади перед Зимним дворцом:

«...Вот на трибуне появился Ленин. Вся площадь задрожала от аплодисментов. Возгласы ста тысяч людей слились воедино. Буря оваций поднялась навстречу незаметному человеку, который вертел в руках свою кепку и ждал, пока утихнет эта буря любви и преданности. Затем Ленин начал свою речь. Ясно и без всякого пафоса, без жестов приветствовал он в лице петроградских рабочих победоносную революцию.

Широкая площадь залита горячим солнцем. У ног Ленина стоят крестьяне в мужицких одеждах, пришедшие из окружающих деревень. Вся их масса — одно очарованное молчание. Все слегка запрокинули головы назад и как бы утоляют жажду, упиваются речью Ленина.

...Внезапно Ленин заканчивает свою речь. Без всякого пафоса и заключительных эффектов он исчезает среди толпы своих друзей. Толпа на площади все еще сохраняет благоговейное молчание, но вот вторично рождается буря. Руки поднимаются вверх, отдельные возгласы — «Ленин!», «Товарищ Ленин!» — мало-помалу растут и сливаются в один стотысячный голос, ритмически повторяющий: «Ленин!», «Товарищ Ленин!»

А у Ленина время уже исчерпано, надо возвращаться в Москву, поспеть на восьмичасовой. Для делегатов формируются поезда, которые отойдут позже.

Это был последний приезд Ленина в Петроград.

ЗАПИСКА

Спор начался, едва они пробудились в роскошном зале с неправдоподобно большим камином и высоким, как небо, лепным потолком. Заставленный беспорядочными рядами коек, зал этот не отапливался со времен свержения самодержавия, и согревались тут всеми доступными средствами — очень громко пели частушки с приплясом, «гнули баранки». Только одна комната в этом насквозь простывшем доме хранила жар. Здесь, пуская пары, стоял на плите огромный медный куб, здесь можно было прикурить от уголька, наполнить жестяную кружку обжигающим душу кипятком.

Но что-то стряслось сегодня с кубом, кипятку не предвиделось, и они ушли «с таком», как тогда выражались, захватив с собой по горсти сухарей. Это был дневной порцион, который выдавал каждому делегату комендант общежития. Впрочем, происшествие с кипятком было тотчас же позабыто: предстоял день, совершенно несоизмеримый с таким фактом, как неудавшийся завтрак.

Над городом висело безнадежно серое небо, сочился

нудный дождь, на бульварах зябко ежились голые, мокрые деревья.

Но и это сквернейшее состояние природы, как видно, ничуть не беспокоило молодых людей, которые шли сейчас по московским улицам. Они шагали, не разбирая, где панель, а где мостовая, не прекращая ни на секунду свою дискуссию. Нужно было твердо уяснить и договориться в конце концов, какие же вопросы, задачи, проблемы, переполнявшие их через край, являются самыми главными. Их было одиннадцать — и у каждого свое суждение о самом главном.

Но главнее самого главного было одно: они шли к Ленину, Ленин их ждет, Ленин будет их слушать. Лишь в одном смогли они достигнуть некоторого единомыслия.

Было решено, что от имени делегации выступит уполномоченное на то лицо, так сказать, докладчик. И выдвинутая кандидатура также казалась достаточно подходящей: молодой, но испытанный товарищ, незаурядный оратор, уже успевший повоевать, поруководить, побыть редактором юношеского журнала и даже прославиться уникальной опечаткой: на обложке выпущенного им первого номера была указана дата, опередившая свое время на целое столетие.

Безусловно, любые опечатки недопустимы — недаром о них всегда сообщают, что они «вкрались» и что они «досадные». Но эта ни в ком не вызвала досады. Было в ней что-то символическое, она как бы подчеркнула то безудержное устремление в будущее, которым была захвачена юность, призванная к жизни небывалой революцией...

Итак, докладчик был утвержден. Но тут же к нему приставили еще одного товарища с ответственным поручением: он обязан был неотлучно находиться рядом с докладчиком, и если тот «зашьется», «зарапортуется» (случается и такое) — наступить ему на ногу. Вопрос этот был обсужден со всей серьезностью и одобрен.

Однако выкованное с таким трудом единодушие продолжалось недолго. Уже на полпути «взвился» вдруг уральский делегат, заявивший, что от всей этой затеи с докладчиком за версту несет казенщиной: только представить себе картину, когда один ораторствует, а все остальные глядят, как сычи.

— Короче! — хмуро оборвал его докладчик (как-то само собой получилось, что к нему перешли председательские обязанности). — Что предлагаешь?

Уралец не имел продуманной позиции. Он только добавил, что здесь попирается коллективизм и что выступать и говорить должны «все, все, все», а не «уполномоченное лицо».

— Декламация на манер греческого хора из античной пьески!

Эта реплика не случайно принадлежала владимирскому делегату. Тогда еще никто не предполагал, что его ожидает широчайшая поэтическая известность, но он уже был автором «Юношеской марсельезы», которая распевалась, во всяком случае в губернском масштабе.

Замечание о греческом хоре почему-то особенно задело уральца. Потухшие было страсти вспыхнули с новой силой. Уральца потеснили на мостовую, где и была продолжена дискуссия.

Участники ее не опасались наездов транспорта, свистков, штрафов за нарушение уличного движения, поскольку такового почти не существовало, да и само разграничение улиц на мостовые и тротуары стало понятием условным.

Трудно было чем-нибудь удивить москвичей тысяча девятьсот восемнадцатого года — уже столько было видано, и слыхано, и испытано, но все же редкие прохожие, укрытые от дождя как придется, поглядывали на спорящих. Один даже остановился невдалеке и наставил ухо — странная фигура в какой-то театральной крылатке с бронзовой застежкой на горле, в диковинной шляпе грибом. Его, наверное, так и не заметили бы в пылу спора, но он подошел совсем близко и сунулся вперед старческим безбородым личиком.

— Не надо было убивать Распутина! — проскрипел он и заспешил на другую сторону шаткими, неверными шагами, точно запутываясь в сетке дождя.

— Вот шут гороховый, — сказал кто-то, а поэт, сложив ладони лодочкой, крикнул вдогонку:

— Эх, не надо было отменять крепостное право!

— А ну его к лешему, — отмахнулся докладчик. — Отрыжка старого мира... Не отвлекаться! Ставлю на голосование коллективную декламацию! За? Против? Воздержавшиеся?

Подсчитав голоса, он повернулся к уральцу и сообщил несколько грубовато:

— Утрись! Пошли дальше!

Но тут потребовал слова орловский делегат. Мостовой ему показалось мало. Ему нужна была трибуна, и он вскочил на поваленный, поломанный ларь. Вид у орловца был живописный: черная куртка с цветными заплатами, на одной ноге — щегольская коричневая крага, на другой — русский сапог с обрезанным голенищем. Басок у него еще ломался, на щеках вспыхивал неровный румянец.

— Предлагаю обсудить, можем ли мы сидеть в присутствии вождя революции? Я считаю, что не можем! Разговаривая с ним, мы обязаны стоять!

В течение нескольких секунд был слышен только назойливо-однообразный шум дождя, потом тоненький и очень звонкий голос рассек эту внезапно наступившую тишину:

— А ну слазь! Тоже памятник выискался!

Быстрая и ловкая фигурка подскочила к орловцу. Из-под солдатской папахи выбивались светлые пряди, блестели глаза, зубы. Искорка. Единственная девушка здесь, питерский делегат. Она обеими руками ухватила торчавшую из ларя доску и дернула ее, точно надеясь низвергнуть оратора.

— Товарищи, что мы слышим? Нам предлагают тянуться перед человеком, которому ненавистно всякое чинопочитание! Воскресить старорежимные нравы. Какая дикость! Нет слов!

— Послушай, старик! — примирительно сказал докладчик.— Ты лучше не нажимай! Шлепнешься единогласно!.. Ну что ты станешь делать, если тебе предложат сесть?

— То и стану делать! — упрямо мотнул головой орловец.— А вы делайте как знаете!

Докладчик махнул рукой — «вполне безнадежен» — и достал из кармана кожаный мешочек. Среди всех присутствующих только он был обладателем часов — старинных, дедовских, в виде луковицы. Они и хранились в кожаном мешочке. Прикрыв часы ладонью, он поднес их к глазам:

— Братцы, ходу, ходу!

Был еще не поздний час, а над Красной площадью уже опустились сумерки. Тускло отсвечивали мокрые булыжники. Только главный шатер Василия Блаженного виден был отчетливо, а ниже все окутывалось пепельно-серой дымкой. Очертания башен и зубцов на кремлевской стене казались чуть размытыми в сумеречном воздухе. Все это было знакомо и в другой день не задержало бы внимания, но сейчас захотелось остановиться, постоять минутку...

— Когда-то похаживали здесь стрельцы... С пищалями, бердышами, в кафтанах,— сказал орловец, и глаза у него заблестели.— Стояли в ночных дозорах... А знаете, как они перекликались? «Славен город Москва!» Это один. А другой в ответ: «Славен город Суздаль!» А третий: «Славен город Смоленск!»

Дребезжа отбитыми внутренностями, рассыпая пучки зеленых искр, на площадь медленно въехал трамвайный вагон — нечастое зрелище в столице. Первая четверть двадцатого века напомнила о себе.

— Ты, пищаль, хватит! — Докладчик окинул орловца суровым взглядом.— И смотри не вздумай соваться со своим альбомчиком.

Альбомчик орловского делегата был, что называется, «притчей во языцех». Многие считали, что орловец занимается делом весьма неподходящим: обзавелся альбомом, куда вносил каллиграфическим почерком «мысли, стихи, впечатления, изречения» — так было написано печатными буквами на обложке. Немало пришлось ему претерпеть насмешек. Именовался он и «мамзель гимназисткой», и «девицею из благородного института», и «господским мальчиком», но с альбомом не расставался. Ночью держал под головой, остальное время суток — в глубоком нагрудном кармане шинели. Самым упорствующим насмешникам он объяснял, что они, если желают, могут убедиться, что в его альбоме оставляли свои записи «не последние лица в текущем мире».

— Вот что, братцы,— тихо сказал докладчик,— дайте мне теперь побыть одному.

Его поняли и пошли, отставая на шаг. Под ногами хлюпала вода. Все ближе и ближе подходили они к деревянной будке, прилепившейся к Спасским воротам. Здесь им были приготовлены пропуска.

В большой комнате было очень тихо — так тихо, что шелест бумаг казался резким звуком. И они были здесь единственными посетителями. Значит, больше никому не назначено на это время. Секретарша только успела записать, какая делегация явилась на прием к председателю Совнаркома, как открылась дверь из соседней комнаты и они увидели человека, которого сразу не узнали.

Он стоял в дверях, очень знакомый и совсем другой, похожий и непохожий на себя; брови, усы, бородка, завитки волос вокруг головы золотисто отсвечивали, расставленные глаза улыбались.

Требовалось хоть немного времени, чтобы освоиться с поразительной мыслью, что вот они уже и встретились с Лениным. Но он сразу, точно одним махом, уничтожил все, что могло их сковывать.

— Здравствуйте, молодые товарищи! — В голосе его слышалась небольшая, какая-то очень «домашняя» хрипотца.— Заходите, заходите. Разбирайте все, что годится для сиденья. Сейчас дадим полный свет.

Он подошел к настенному выключателю, вспыхнула стеклянная люстра. Зажигалась она только для посетителей. Когда председатель Совнаркома находился в кабинете один, горела лишь настольная лампа.

— А девушку мы, конечно, усадим в кресло... Будьте хорошими кавалерами, подвиньте его сюда.

Заметил ли Владимир Ильич, что «кавалерами» овладело некоторое смущение?

— Кстати, сколько девушек у вас на съезде?

— Десять штук! — неожиданно для себя выпалил поэт-владимирец. «Словно кто-то дернул меня за язык»,— вспоминал он потом.

— Не штук, а человек,— поправила Искорка.

— И еще каких человек! — живо подхватил Владимир Ильич.

Видимо, ему нравились этот шум и толкотня, поднявшиеся в кабинете, пока расставлялись стулья и все рассаживались по местам.

— Все устроились? — спросил он.— Нет, кажется, не все.— Он приподнялся на цыпочках и озабоченно посмотрел на орло́вца, стоявшего неестественно прямо.— Вам, товарищ, не хватило места? Сейчас мы это поправим.

— Место у меня... есть...

— Так что же вы стоите? Садитесь, садитесь, пожалуйста!

Десять пар глаз скрестились на орловском делегате и словно прижали его к стулу. Это маленькое происшествие подарило докладчику лишнюю минуту — как она нужна была сейчас! Десять пар глаз обратились теперь к нему требовательно и выжидающе: «Ну, начинай!»

— Дорогой и уважаемый товарищ Ленин! Мы, президиум Первого съезда рабочей и крестьянской молодежи, сообщаем вам, что съезд единогласно избрал вас своим почетным председателем!

Докладчик слышал себя. Голос звучал бодро.

Владимир Ильич слегка наклонил голову, как бы желая сказать: благодарю. А что дальше?

Да, что же дальше? Для начала — немного предыстории, очень кратко. Дела и дни юношеского движения. Насущные проблемы. И самое главное — цели и задачи. Как их понимает молодежь, и мнение товарища Ленина.

Все было продумано, все на своем месте, все обтачивалось и обстругивалось со всех сторон в словесных баталиях. Но вдруг потерялась первая фраза, необходимая начальная фраза. Только бы найти ее, и тогда пойдет как надо...

Тяжелый, негнущийся сапог придавил ему ногу. Он внутренне охнул и не сразу решился поглядеть на сидевшего напротив Ленина. И все-таки их взгляды встретились, и в глазах Владимира Ильича он увидел далеко запрятанную добродушную усмешку.

— А теперь разрешите мне задать вам несколько вопросов,— сказал Владимир Ильич, будто ничего не произошло.— Вот что я хочу от вас услышать, молодые товарищи.— Он помедлил немного, как бы давая понять, что над его вопросами придется подумать.— Какими людьми прошлого вы восхищаетесь, кому хотели бы подражать?.. И еще: какие песни вы любите?

Молчание. Потом задвигались, заскрипели стулья, кто-то даже шумно вздохнул. Эти вопросы были не только удивительными — они показались невероятными.

Но это было лишь началом.

— А есть ли у вас рукавицы на зиму? Как вы боретесь с влиянием эсеров, меньшевиков, анархистов в

своих организациях? Имеются ли в музыкальных кружках инструменты? О чем спорят сейчас на съезде? Есть ли верующие среди делегатов? Обеспечены ли керосином избы-читальни? Как складываются отношения с родителями? Изучается ли повседневно стрелковое дело? Много ли есть любителей шахматной игры?

Поражающе разные вопросы устремлялись к ним, точно стрелки, которыми была исчерчена географическая карта, висевшая на стене. Пожалуй, уралец мог теперь торжествовать. Говорили все, все, все, спеша с ответом, случалось, перебивая друг друга. Да ведь это и есть то, чем они живут,— это сердцевина их жизни...

Несомненно, Владимир Ильич отпустил немало времени на встречу с молодыми товарищами. Она ничем не прерывалась, не было ни одного телефонного звонка. Но вот в кабинет вошла Лидия Александровна Фотиева — озабоченная, строгая,— что-то сказала, наклонившись к Владимиру Ильичу, и он кивнул головой. Видимо, встречу нужно было заканчивать.

Это и подтолкнуло докладчика. Он сидел притихший, почти не участвовал в беседе. Вероятно, он сильно преувеличивал свой недавний конфуз и думал, конечно, что все об этом помнят. Но сейчас, перед уходом, он все-таки решился спросить Ленина о самом главном: цели и задачи Коммунистического Союза Молодежи.

— Цели и задачи? А мы же все время толковали о них! Именно о целях и задачах. Вы все и ответили на этот вопрос. Многое уже сделано. Найден верный путь. Намечено будущее. А теперь вы объединились.— Он помолчал, точно припоминая что-то.— Знаете, была у меня на днях встреча. С одним товарищем, старым работником. Идет расстроенный, бледный, как говорится, на нем лица нет. Что такое? Оказывается, столкнулся с несправедливостью, с равнодушием, с неправильным решением. Я ему высказал одно свое убеждение: не бледнеть надо, а краснеть, вспыхивать, негодовать, встречая такие дела. И действовать, преодолевать, бороться!.. Между прочим, помню еще с гимназических лет: римский полководец Катон брал в воины только тех, кто краснел от гнева.— Ленин посмотрел на часы.— А теперь обратимся к житейской прозе... Помогают новому союзу? Как и кто?

Докладчик приободрился. Опять переходила к нему

роль «старшего». Достав из папки листок бумаги, он подал его Владимиру Ильичу. Это была страница из школьной тетради в косую линейку, и написано было на ней вот что:

«В хозчасть Моссовета.
Прошу отпустить Союзу Молодежи
для созыва Всероссийского съезда:
Особняк (штук) — 1 (один)
Чечевицы (мешков) — 2 (два).

Предмоссовета Смидович»

Владимир Ильич повертел бумажку, поглядел и на оборотную сторону.

— Ну что же, для начала недурно. А финансы? Как у вас с финансами?

Докладчик развел руками:

— Вот с финансами... Никак!

— Без финансов нельзя! — сказал Владимир Ильич, обдумывая что-то.— Да, финансы, финансы...

Он перешел к своему письменному столу, взял перо и блокнот.

— Я тут пишу Якову Михайловичу Свердлову,— говорил он.— Вы идите сейчас к нему. Обязательно посоветуйтесь с ним, как работать дальше.

Он протянул докладчику листок, пристально оглядел всех и вдруг спросил:

— А есть хотите, ребятки?

Много неожиданного пришлось им выслушать тут, но этот вопрос привел их в смятение.

— Так как же, товарищи президиум?

Они, точно по команде, взглянули на докладчика: «Хоть ты и «засыпался», а таки «старшой»!»

— Безусловно не хотим, товарищ Ленин,— с твердостью ответил докладчик.

— Гм, даже безусловно.— Владимир Ильич иронически кашлянул.— А позвольте усомниться? Если бы это было так, наша девушка не доставала бы тайком сухарики из кармана, не грызла бы их потихоньку, думая, что никто этого не видит... Знаете, мы, старые подпольщики, ох какие наблюдательные люди, нас трудно провести... Я не хотел вас смущать, пожалуйста, извините,— обратился он к Искорке (она в это время стиснула

огрызок сухаря в кармане).— Это я для выяснения истины... Так, говорите, безусловно? Но я все-таки напишу Якову Михайловичу еще несколько слов...

Первая записка была на бланке председателя Совнаркома, и там было сказано, что надо помочь молодежи от партии и выдать будущему ЦК десять тысяч рублей. Два слова были выделены, как это часто делал Ленин: «помочь» — подчеркнуто один раз, «от партии» — три раза.

Вторую записку Владимир Ильич написал на экономной четвертушке. В ней содержалась просьба накормить обедом одиннадцать членов молодежного президиума.

Они спустились этажом ниже, прошли в центр здания, где находился ВЦИК. Уже в коридоре, неподалеку от председательского кабинета, был слышен знаменитый металлически четкий голос «красного президента», покрывавший шумы любого собрания или митинга; в комнате он умерял его, как мог.

Они приоткрыли дверь в кабинет. Свердлов стоя разговаривал по телефону. Увидев их, он энергично замахал рукой — сюда, сюда! — и сказал в трубку:

— Вот они, явились, Владимир Ильич... Да, да, хорошо, непременно!

В небольшом кабинете сразу стало тесновато. Свердлов одобрительно оглядел своих посетителей.

— Значит, побеседовали с Ильичем? Превосходно! Жаль, у нас буквально нет минуты свободной, чтобы заглянуть к вам.

Но оказалось, что он хорошо знает о многих выступлениях на съезде, даже запомнил некоторые фамилии. Потом, взяв из рук докладчика записку на бланке, прочел ее, близко поднеся к блестящим стеклам пенсне. Потом сказал: «Помечтаем немного» — и тут же раскрыл перед ними ослепительное будущее: «Когда нас будет миллион, и даже больше».

— Но вместе с тем, дорогая молодежь, ревизионной комиссии, которую изберет съезд, надо с самого начала следить, чтобы разумно и экономно расходовалась каждая государственная копеечка.— Он подсунул краешек совнаркомовского бланка под лампу.— Сегодня же

сведу вас с наркомфиновцами... А где вторая записка? По-моему, у вас имеется еще записка от Ильича?

Он снял пенсне, висевшее на шнурке, часто поморгал усталыми близорукими глазами. И вдруг стало видно, что он еще очень молодой и, в сущности, не так уж давно и сам был «молодежью».

— Так где же записка? Что вы ее держите? Давайте-ка сюда!

Привычным движением он нацепил обратно пенсне. Скользнул по записке быстрым взглядом, открыл боковой ящик стола и убрал ее. Затем выдвинул другой, соседний, достал книжицу, похожую на квитанционную, и аккуратно, один за другим, оторвал одиннадцать талонов. Под стеклами пенсне пробежала улыбка.

— По имеющимся сведениям, сегодня как раз неплохой обед. Пшенная каша. Причем густой консистенции.

Вошел паренек в косоворотке и положил перед ним толстый пакет, облепленный сургучными печатями. Смуглое лицо Свердлова сразу сделалось напряженным.

— Ты обожди, Гриша,— сказал он пареньку.— Наверное, скоро придется ехать с ответом... А вы, молодежь, извините,— повернулся он к делегатам.— Рад бы с вами продолжить разговор, но... Да мы еще не однажды встретимся,— закончил он и крепко потряс каждому руку.

Делегаты отошли от стола, а Свердлов, не отрывая глаз от пакета, взвесил его на ладони, отложил в сторону и, придвинув к себе какие-то мелко исписанные листки, погрузился в чтение. Через некоторое время он поднял голову и с удивлением посмотрел на делегатов, которые, оказывается, не ушли, а стояли, тихо переговариваясь, посреди комнаты.

— В чем дело, молодежь? Недосказали мне что-то?

Докладчик подошел к его столу:

— Яков Михайлович... У нас к вам просьба. Думаем, что выполнимая... Верните нам записку Владимира Ильича. Которая насчет обедов... для Эр Ка Эс Эм,— с затруднением произнес он еще непривычное слово.

Свердлов ответил не сразу. Показалось даже, что этот стремительный человек замялся на несколько секунд.

— Друзья мои, поверьте, не могу! Я ведь тоже на службе у Советской власти, и, стало быть, лицо подот-

четное. Отчитываюсь в каждом своем действии. В каждом! — повторил он.— В качестве резерва и я имею некоторое количество талонов. Случается, позарез нужно накормить то иностранных товарищей, то своих приезжих... Я ведь отчитываюсь в этих талонах... Если выразиться бухгалтерским языком, записка, которую вы просите вернуть,— мой оправдательный документ. Очень мне жаль, ребята, но, честное слово, не могу...

А дождь так и не переставал. Только теперь он не моросил, а лился на головы, точно сквозь дырявую крышу. Сумерки стали темно-свинцового оттенка, и строения на площади скорее угадывались, чем были видны. У Верхних торговых рядов желтело расплывчатое пятно фонаря.

Туда они и побежали, бесстрашно разбрызгивая лужи.

Какой-то деревянный навес с длинными прилавками. Можно укрыться здесь, забраться на прилавок, смотреть, как в свете одинокого фонаря крутятся дождевые струи.

— Сейчас я войду в число не последних людей текущего мира,— сказал поэт, наклоняясь к орловцу.— Да-с, текущего во всех смыслах... Дай-ка твой альбом.

Орловец с недоверчивой опаской поглядел на него: опять шуточки, розыгрыш.

— Давай, братишка, давай,— торопил поэт.

Плотная тетрадка в кожаном переплете была подана ему раскрытой на чистой странице вместе с карандашом. Поэт положил альбом к себе на колени. Вызывающе стучал дождь в деревянный навес. Сумрак сгущался кругом. Только над Кремлем держалось легкое, почти невидимое марево — отсвет электрических огней из окон кремлевских зданий.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
РАДИЩЕВ

КРЕПКАЯ ПОДПИСЬ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1979, 224 стр. План выпуска 1980 г. № 132

Редактор М. И. Д и к м а н
Художник Л. А. Я ц е н к о
Худож. редактор М. Е. Н о в и к о в
Техн. редактор З. Г. И г н а т о в а
Корректор Е. А. О м е л ь я н е н к о

ИБ № 2336

Сдано в набор 04.07.79. Подписано к печати 15.11.79. Бумага тип. № 1. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 11,76. Уч.-изд. л. 11,27. Тираж 200 000 экз. Заказ № 4179. Цена 85 коп.

Изд-во «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28.

Отпечатано с матриц ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва, И 473, Краснопролетарская, 16.
в Ордена Трудового Красного Знамени типографии им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57. Заказ 235

85 коп.